

1970

День поэзии

**ДЕНЬ 1970
ПОЭЗИИ**

**СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

С. С. Наровчатов (гл. редактор),
С. А. Васильев,
И. Г. Волобуева,
М. М. Годенко,
В. В. Казин,
П. П. Нефедов,
А. М. Николаев,
М. Д. Максимов,
В. О. Перцов,
В. А. Прокофьев,
Ю. Л. Прокушев,
В. С. Савельев,
Б. А. Слуцкий,
А. С. Смольников,
В. Б. Шкловский.

Составители — В. С. Савельев, Н. Г. Григорьева.

1970 — год исключительный и необычный. В нем отмечается столетие со дня рождения Ленина. Великий вождь трудящихся открыл народам Советской страны путь к коммунизму — светлому будущему всего человечества. Всепобеждающий свет ленинских идей освещает нашу жизнь, наши искания и свершения. И, естественно, поэзия обращается к образу Ленина, как духовному средоточию лучших народных помыслов, надежд и деяний.

Поэты москвичи посвятили Ленину многие стихи этого сборника. Иногда в них не называется великое имя, но его звучание слышно в больших словах — революция, партия, советская власть. Слышится оно и в памятном словосочетании: День Победы над немецким фашизмом. Двадцатипятилетие этого славного дня встречает наш народ тоже в знаменательном 1970 году.

В сборнике представлены и стихи, посвященные вечным темам поэзии — любви и природе, счастью и печали. Движения мысли и сердца приобретают для нас особую значимость в столетие рождения самого человеческого из людей.

Ленинская тема будет определять содержание и направление советской поэзии на всем пути ее развития. Пусть одним из множества штрихов «недорисованного портрета» вождя революции станут лучшие стихи «Дня поэзии 1970».

РЕДКОЛЛЕГИЯ

ПОРТРЕТОВ ЛЕНИНА НЕ ВИДНО:
ПОХОЖИХ НЕ БЫЛО И НЕТ.
ВЕКА УЖ ДОРИСУЮТ, ВИДНО,
НЕДОРИСОВАННЫЙ ПОРТРЕТ.
ПЕРО, РЕЗЕЦ И КИСТЬ НЕ В СИЛАХ
ВСЬ МИР ОГРОМНЫЙ ОХВАТИТЬ,
КОТОРЫЙ БЬЕТСЯ В ЭТИХ ЖИЛАХ
И В ЭТОЙ ГОЛОВЕ КИПИТ.
ГЛАЗА И МЫСЛЬ НЕРАСТОРЖИМЫ,
А КТО ТАК МЫСЛИЮ БОГАТ,
ЧТОБ ПЕРЕДАТЬ НЕПОСТИЖИМЫЙ,
ВЕКА ПРОНИЗЫВАЮЩИЙ ВЗГЛЯД?

НИКОЛАЙ ПОЛЕТАЕВ

Виктор Перцов

НЕДОРИСОВАННЫЙ ПОРТРЕТ

В 1925 году к берегам Италии впервые прибыла советская эскадра. Там — в Сорренто — в это время жил и работал А. М. Горький. Он уехал из России в конце 1921 года, как известно, по настоянию В. И. Ленина, из-за болезни. Весть о смерти Владимира Ильича была для Горького тяжелым ударом и переживалась им в особенности тяжело вдали от родины. Для Горького Ленин был не только великим вождем, но и личным другом, вдохновителем его художественных свершений. Горький общался с Владимиром Ильичем много и часто, знал его в повседневной жизни, любил его как человека...

Когда советские моряки, оказавшись в Сорренто, пришли в гости к своему великому земляку, завязалась горячая беседа о родине и, конечно, о родной литературе. Горький сказал о том, что уход Ленина ставит перед советскими писателями задачу создать произведения о нем. При этом он заметил, что вопрос — как писать о Ленине — далеко не так прост, Ленин сейчас не просто «человек в пиджаке»... Горький, конечно, имел в виду главное в Ленине — его историческое значение как вождя мировой революции. Известно, что Горький не сразу, но лишь после нескольких «проб», «этюд», не вполне удовлетворявших его самого, создал свой непревзойденный портрет Ленина в очерке 1930 года. Горький дал в нем почувствовать Ленина не только как великого борца против зла и горя жизни, но, если воспользоваться его собственным выражением, и как «человека в пиджаке», которому ничто человеческое не чуждо. Великому писателю удалось добиться в портрете такого органического единства, которое у читателя вызывает счастливое чувство присутствия живого Ленина. Это, конечно, стало возможным не только благодаря гению художника, но и потому, что Горькому посчастливилось писать «с натуры».

Не многим нашим художникам слова, создавшим произведения о Ленине, выпала удача видеть Ленина в жизни. Однако нельзя не почувствовать благодарности ко всем, кто с искренним воодушевлением, в меру

своего таланта, сумел схватить и запечатлеть хотя бы одну черту «самого человеческого человека».

Поэты были первыми в разведке темы. Собственно, ленинская тема еще не была осознана в литературе. Но поэты, как люди наиболее эмоциональные, не могли сдерживать себя в выражении чувств, которые переполняли народную душу. Да ведь и многие рядовые бойцы Октябрьской революции впервые почувствовали потребность заговорить стихами о человеке, которому поверили. Это, конечно, не значит, что они стали поэтами, но с первых же дней после Октября, когда стали выходить большевистские газеты, в «Правде» и «Солдатской правде», в «Красной газете» и «Бедноте», в «Крестьянской правде» и «Красном набате» в огромном числе стали появляться «самодеятельные» стихи крестьян, рабочих, красноармейцев, посвященные Ленину. Они замечательны как свидетельства народной любви и гордости, осознания величия своего вождя — «непобедимого исполина», «грозы богатых и царей», «гордости века». Крайне несовершенные по форме, эти попытки были проявлением потребности народных масс, разбуженных большевиками, художественно пережить идеи и дела Ленина и тот земной, простой и величественный образ человека, для воплощения которого впоследствии Владимир Маяковский нашел слова, бессмертные на скрижалях истории и поэзии.

Нет никакой возможности отметить все поэтические произведения, которые внесли сколько-нибудь своеобразную крупницу в общий вклад поэзии ленинской темы. Можно лишь указать некоторые, наиболее знаменательные вехи творческой истории великого образа в трудах многонационального коллектива советских поэтов. В этом очерке я коснусь только прижизненных воплощений образа Ленина. Есть одна примечательная черта, свидетельствующая о том, что все народы России сразу же после Октября признали Ленина своим, связали с ним, великим сыном русского народа, свои чаяния социального и национального освобождения, подсказав своим поэтам новый ис-

точник вдохновения. Среди самых первых стихотворений, вышедших из этого источника, привлекают внимание произведения Тициана Табидзе, Акопа Акопяна и Токтогула. Историческое значение здесь имеют даты их создания. «Петербург» Тициана Табидзе написан им в самые дни Октябрьской революции. Поэту рисуется Петербург, где рядом с восставшим народом, солдатами в темных углах бывшей царской столицы гнездятся отбросы и жертвы буржуазного общества: «бомбой взорван воровской притон, женщины бредут, дрожь от стужи...» — детали, как бы предсказывающие городской пейзаж еще не созданных Александром Блоком «Двенадцати». И как характерно, что грузинский поэт, вышедший из символизма, переключается здесь с великим русским поэтом, который в поэме, посвященной Октябрьской революции, как бы подвел итоги своему разрыву с символизмом. В стихотворении Тициана Табидзе о Петербурге дней Октября едва ли не впервые в советской поэзии возникает имя человека, за которым пойдут массы:

Но ответ столетий несомненен.
И исход сраженья предрешен.
Ночь запомнит только имя Ле н и н
И забудет прочее, как сон.

И вот стихотворения 1919 года — армянского поэта Акопа Акопяна и киргизского Токтогула — основоположников своих национальных литератур.

Акоп Акопян — старый, закаленный в классовых битвах революционер — посвящает Ленину стихи, преисполненные несокрушимой веры в победу ленинской мысли и дела. Характерно в них желание нарисовать портрет, увидеть в самом внешнем облике вождя отражение его внутренней силы:

Перед его портретом я стою.
Я всматриваюсь, глаз не отводя,
В черты лица его — и узнаю
Приметы гения, борца, вождя.

И тогда же ровесник Акопяна, киргизский народный певец Токтогул, на собственном тяжком опыте познавший гнет баев и преследования царского правительства, создает в традиционной фольклорной форме восторженный гимн «нашему Ленину»:

Свет пришел — и сгнула мгла,
Встал народ степей и селений,
Что за добрая мать родила
Такого сына, как Ленин.

В 1920 году большая ленинская дата — пятидесятилетие Владимира Ильича — подняла в массах огромную волну любви, благодарности своему «Ильичу», жажду сказать ему об этом, которая вылилась многими примечательными произведениями поэтов, ставших ведущими в первом, старшем поколении нашей литературы. Авторы стремятся сказать о том, что составляет силу В. И. Ленина — вождя мировой революции. Страстная патетика этой стихотворения Демьяна Бедного, Александра Безыменского, Ивана Филиппченко, Василия Казина, Владимира Маяковского, поэму Николая Тихонова «Сами». Сравнение Ленина с капитаном, ведущим корабль мировой революции, едва ли не впервые стало сквозной поэтической метафорой стихотворения Демьяна Бедного «Рабочий привет по поводу 50-летия Владимира Ильича Ленина»:

Еще не улеглись порывы урагана,
Еще корабль дрожал, встречая грозный вал,
Но, повинуюсь искусству капитана,
Ходил уверенно в его руках штурвал.

Метафора «Ленин — капитан» станет впоследствии почти обязательной в стихотворениях, обращенных к Владимиру Ильичу, по-разному варьируясь разными поэтами, вплоть до Есенина и Маяковского. Но обращение Демьяна Бедного с «Рабочим приветом» к Владимиру Ильичу отмечено еще одной характерной для времени чертой образа Ленина — как вождя мировой, а не только русской революции.

Поэт подчеркивает солидарность пролетариев всех стран в строительстве Советской республики.

Друзья, приветствуя родного Ильича,
Ответной похвалы лишь будет тот достоин,
Кто, тяжким молотом (не языком!) стуча,
Спасает наш корабль от тысячи пробоев.

В этой строфе прорывается и личное чувство поэта, для которого Ленин не только капитан, но еще и близкий ему человек — «родной Ильич», с которым автору посчастливилось быть рядом, работать с ним.

Иначе подходит к созданию образа А. Безыменский, называя свое стихотворение «Товарищ Ленин». Он хочет показать вождя как слитное явление коллектива, как вершину коллектива, отстраняя слепое преклонение, но невольно теряя при этом живую теплоту чувства:

Он нам важен не как личность,
Он нам важен не как гений,
А как символ:
«Я — не Ленин,
Но вот в Ленине —
и я».

В стихотворении Маяковского, тоже юбилейном обращении к Ленину, можно уловить общее с подходом Безыменского, хотя бы в том, что автор хочет себя защитить от возможных упреков в преувеличении роли личности и сразу же заявляет: «не герои низвергают революций лаву», что это «интеллигентская чушь». И все-таки любовь к Ленину, чувство человеческой близости к нему современника-единомышленника диктует поэту искренние слова:

Но кто ж
удержится,
чтоб славу
нашему не воспеть Ильичу?

Одним из самых ярких произведений о Ленине, созданных при его жизни и, можно сказать, обращенных к нему, была поэма Николая Тихонова «Сами». В письме к автору этой статьи Николай Семенович уточнил и даты и условия появления этого произведения:

«Маленькая поэма «Сами» написана не в 1920 году, а в 1919 году. В 1920 году она окончательно доработана и напечатана в 1922 году. Поэма эта возникла как следствие ряда моих неопубликованных стихов, юношеских, с Востока и о борьбе за свободу народов Индии, Китая, Индонезии. В 1918—1919 гг. в поэзии, как и вообще, был силен лозунг: даешь мировую революцию! Вы, вероятно, его хорошо помните. Тогда я, исходя из моего, допустим, условного представления о Востоке, но под впечатлением побед пролетарской революции, освободительной борьбы афганского народа против английских колонизаторов, под впечатлением революционных явлений в Индии, и написал эту поэму про индийского мальчика, который слышал о Ленине как об освободителе от английского ига.

Я встречал восточных людей, которые мне рассказывали об огромной популярности Ленина на Востоке. Это стихотворение в рукописном виде больше года ходило по рукам и читалось на вечерах самодеятельности и на красноармейских концертах... Оно выходило и в отдельных изданиях и на разных языках... Мне говорили, что Владимир Ильич Ленин читал его в «Кр. нови».

В этой краткой творческой истории отчетливо предстает одна из важнейших предпосылок художественной удачи в работе над ленинской темой: органичность, внутренняя необходимость ее индивидуального решения художником. В наивном мышлении индийского мальчика Ленин предстает в полуфантастическом образе: «Он дает голодным корочку хлеба, даже волка может сделать человеком». Весть о «властелине», который «совсем не дерется стеклом», пробуждает у Сами чувство протеста против своих угнетателей и надежду на лучшую жизнь. Сами молится «далекому Ленни» и чувствует:

Будто снова он родился в Амритсаре —
И на этот раз человеком,—
Никогда его больше не ударит
Злой сагиб своим жестким стеклом.

...«Любимому» — так называет Демьян Бедный свое стихотворение, напечатанное в «Правде», рядом с бюллетенем о состоянии здоровья Ленина: «Живые, думаем с волнением о живом...» Вместе со всем народом советские поэты переживали это волнение о живом, которое и нашло свое выражение в ряде стихотворений «третьей волны» ленинской поэтической темы. Навысшим художественным решением оказалось в их числе стихотворение Николая Полетаева «Портретов Ленина не видно...», пафосом которого стала сама проблематика изображения Ленина, соотношения портрета и оригинала. «Похожих не было и нет...» — таков был трезвый, но вовсе не безнадежный итог поэтических раздумий автора над той задачей, которую, казалось бы, прежде всех и самым естественным образом История возложила на плечи современников Ленина — людей искусства.

Для Маяковского «набатный ленинский язык» — вечен, «не ослабеет ленинская воля в миллионосильной воле РКП». Стихотворение «Мы не верим» было напечатано в газетах всех крупных городов Советского Союза и рядом с правительственным бюллетенем о болезни Владимира Ильича оказалось тем неофициальным, сердечным и твердым словом поэта, которое так нужно было миллионам советских людей, охваченных чувством тревоги и надежды.

Большой поэт опирается на работу своих предшественников и современников, участь на их удачах и ошибках. Маяковскому было бы труднее выразить народное чувство в своем «Мы не верим», если бы не появилось буквально за несколько дней до

него в «Известиях», с которыми поэт в этот период был тесно связан, стихотворение Михаила Зенкевича «Бюллетень молний», говорившее и о внезапности потрясения и о масштабе переживаний, поистине космических, охвативших трудящихся всей земли, честных людей всего человечества. Маяковский-трибун взял свое в образе молнии у поэта-современника, развернув самую выразительную метафору в «Мы не верим»: «Нет! не оковать язык грозы!» Этот пример, конечно, не исчерпывает возможности совпадений в изобразительных средствах поэтической ленинианы, продиктованных единством переживаний, внутреннего мира выразителей народной души, художников разных масштабов и эстетических тенденций.

Старый большевик, поэт Леонид Циновский в эти тревожные дни рассказывал в стихах, названных им «Встреча с Владимиром Ильичем», о незабываемых впечатлениях участника Всероссийского совещания политработников в ноябре 1920 года, где он слышал Ленина:

— Товарищи!.. (грассированный звук) —
И слово это, как по волшебству,
К нам протянулось мостиком,
И, озабоченный,
Ильич вошел в наш круг,—
Вот так
К друзьям приходит друг
Сказать о том,
Что важно очень им.

Стихотворение рядового политпросветработника привлекает своей скромностью, оно является как бы записью непосредственных впечатлений, ожидания встречи с Ильичем, волнения, радости, необыкновенного подъема, записью очень точной и лишеной малейших претензий, вплоть до того, что повествование ведется свободным стихом, где-то переходящим в прозу: «Наше преимущество—мы слушаем и видим...» И прощаем автору мы, сегодняшние читатели, иные художественно несостоявшиеся строки, прощаем за то, что это запись «с натуры», в которой прорываются признания большой жизненной правды «свидетеля счастливого», как потом скажет Маяковский. Вспоминая о встрече с Владимиром Ильичем, Л. Циновский говорит о значении этого дня для всей его жизни:

Ступень,
С которой я осмысленней,
И чище,
И одухотворенней начал жить.

Нельзя тут не почувствовать предвосхищения строк Маяковского во вступлении к его поэме:

Я
себя
под Лениным чищу,
чтобы плыть
в революцию дальше.

Жизненная правда — одна и та же — лежит в основе этих признаний, но для Маяковского она является лишь исходной позицией для решения художественной задачи:

Я боюсь
этих строчек тыщи,
как мальчишкой
боишься фальши.

Выше уже было сказано, что стихотворение Николая Полетаева «Портретов Ленина не видно...», оказавшись на самом высоком грёбне «третьей волны» поэтической ленинианы, обращено к художникам всех родов оружия и всем своим пафосом говорило не об их бессилии, а об огромности задачи, о поисках художественных средств ее решения. Оно призывало художников к выполнению долга — «весь мир огромный охватить», который заключен в образе Ленина. И вот — судьба: оно стало популярным, как народная песня, вошло в душу не только людей искусства, но и каждого советского человека, задумывающегося над тем, что составляет сущность нашего нового общества, над силой Ленина. Всем памятно искреннее признание Сергея Есенина в стихотворении 1924 года: «Он вроде сфинкса предо мной. Я не пойму, какою силой сумел потрясть он шар земной». Это звучит как ответ на полетаевское стихотворение, — во всяком случае, как отзвук на его признание неимоверной трудности задачи художника, определяющейся величиной дела и мысли Ленина:

Глаза и мысль нерасторжимы,
А кто так мыслию богат,
Чтоб передать непостижимый,
Века пронизывающий взгляд?

Иное ощущение трудности у Маяковского. Он признается в этом, приступая к созданию портрета Ленина в своей поэме, — здесь слово, форма выдвинуты:

Вся Москва.
Промерзшая земля
дрожит от гуда.
Над кострами
обмороженные с ночи.

Что он сделал?
 Кто он
 и откуда?
Почему ему
 такая почесть?
Слово за словом
 из памяти таская,
не скажу
 ни одному —
 на место сядь.
Как бедна
 у мира
 слова мастерская!
Подходящее
 откуда взять?

Конечно, и Маяковский, как об этом свидетельствует его великая поэма, решал свою задачу поисков «подходящего» слова, реализовав идейно-поэтическое содержание образа. Тем не менее «мир» Ленина, мысль Ленина — задача портретиста в маленьком стихотворении Николая Полетаева — как ни в каком другом предстают большой программой советской поэзии. И вот еще что важно: поэт-современник прямо относит ее в будущее. Один век прошёл ныне со дня рождения В. И. Ленина. Советский поэт говорит — нужны века:

Портретов Ленина не видно:
Похожих не было и нет.
Века уж дорисуют, видно,
Недорисованный портрет.

* * *

Мы сравнивали поэтические циклы, возникшие последовательно, в связи с разными периодами жизни Владимира Ильича, и, конечно условно, отметили три таких больших цикла. Хронологически слова прощания с Ильичем многих и многих поэтов всего Советского Союза составили в течение всего 1924 года особую волну нашей поэтической ленинианы.

Осенью 1924 года Маяковский закончил свою поэму «Владимир Ильич Ленин». С конца января и в течение всего года появлялись замечательные по силе чувства и художественной выразительности стихи о Ленине. Они свидетельствовали о единстве нашей поэзии с партией и народом, которое открывало перед каждым талантливым поэтом возможность сказать о Ленине свое и по-своему. И Маяковский, обобщая в поэме народные переживания, — такого синтеза наша поэзия не знала до этого произведения, — впитывал, продолжал и развивал многие мотивы поэтов-современников, оставаясь самим собой и внося новое в свое искусство: ленинская тема стала большой

вехой в его развитии художника социалистического реализма. «Свое» и «общее» было неотделимо в образе Ленина, созданном Маяковским. Поэт вспоминал впоследствии спор с А. К. Воронским на эту тему: «Когда я читал Воронскому свою поэму о Ленине, то он подчеркнул, что мало мест, где сквозит мое «личное». «Вас, — говорил он, — мало, Вы не дали нам нового Ленина». Я ему ответил, что нам и старый Ленин достаточно ценен, чтобы не прибегать к гиперболам; чтобы на эту тему не фантазировать о каких-то новых вещах». Маяковский не мог пройти мимо таких стихотворений, которые стали неотъемлемой частицей траурных дней, как, например, «Партбилет № 224332» Александра Безыменского, прямо обращенный к новому ленинскому призыву, или «Пять ночей и дней» Веры Инбер, которая нашла образную деталь, психологически очень точную:

..А стужа над землею
Такая лютая была,
Как будто он унес с собою
Частицу нашего тепла.

У Маяковского та же реальность претворилась в такую картину:

...Даже
 от холода
 бить в ладоши
Никто не решается —
 нельзя,
 неуместно.
Мороз хватает
 и тащит,
 как будто
пытает,
 насколько в любви закаленные.

Как видим, свидетельства современников не расходятся между собой, но совершенно разные картины возникают под пером разных художников. И дело не только в своеобразии поэтики Маяковского и всех средств его стиха, но и в многообразии восприятия, в том, что Ленин воплощает в себе бесконечность революции, в том, что — говоря его словами — «революцию осуществляют, в моменты особого подъема и напряжения всех человеческих способностей, сознание, воля, страсть, фантазия десятков миллионов, подхлестываемых самой острой борьбой классов» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 81).

Да, и фантазия! В поэме Маяковского многие положения прямо воспроизводят факты, известные современникам, газетную

хронику, детали, уже нашедшие место в стихотворениях его предшественников, но воспроизводят так, как, скажем, шекспировские пьесы — итальянские хроники. В стихотворении Александра Жарова, написанном на следующий день после смерти Владимира Ильича, очень искреннем по чувству, есть строфа:

И в полях, где голос в песне звонок
И широк лихой, просторный зык,
Видел я:
Заплакал, как ребенок,
Никогда не плакавший мужик.

У Маяковского в поэме, написанной гораздо позже, мы встречаемся с той же реальностью траурных дней:

И мужичонко,
 видавший виды,
смерти
 в глаз
 смотревший не раз,
отвернулся от баб,
 но выдала
кулаком
 растертая грязь.

Сопоставляя эти строфы поэтов-современников, нельзя не видеть того, как велика изобразительная мощь Маяковского. Воронский упрекал Маяковского в том, что в его поэме мало «личного». Однако критик прошел мимо того, что всенародное горе было личным для каждого советского человека, что в данном случае «повторение» одним поэтом мотива, ранее встретившегося у его предшественника, нельзя рассматривать в плане литературных «подражаний» или «заимствований». Смерть Ленина была и стала личным переживанием и для А. Жарова, и для Маяковского, и для Сергея Третьякова, который в эти январские дни 1924 года, когда самые разные люди, движимые личным горем, в страшный мороз шли к Колонному залу, сказал в своем стихотворении «Мы помним»:

Это от моря до моря
Встало плечом к плечу
Одно беспартийное горе
В последний черед к Ильичу.

В поэтической лениниане не должен быть забыт этот штрих, этот смелый, неожиданный в момент самой острой классовой борьбы разгара нэпа и очень многое открывший эпитет: «Одно беспартийное горе». За этим эпитетом стояло то отношение людей к Ленину, которое для каждого

честного человека сделало его уход личным горем. И Сергей Третьяков выразил это общее и личное горе по-своему.

В том же стихотворении Сергей Третьяков признается в том, как «страшно прятать» навсегда

Самого молодого
Из всех людей на земле.

Эти стихи появились 27 января 1924 года в «Известиях». А 25 января в «Известиях» же был напечатан «Реквием» Николая Асеева:

Если умолк один,
даже и самый живой,
тысячами родён,
жизнь, отмсти за него!

У Асеева выделим слова «самый живой», в приведенном выше стихотворении С. Третьякова — «самого молодого из всех людей на земле». В поэме Маяковского встречаем:

Мы
 хороним
 самого земного
изо всех
 прошедших
 по земле людей.

И дальше у Маяковского же — выразительную «формулу», принятую, как говорится, на вооружение всеми: «Что он сделал, кто он и откуда — этот **самый человеческий человек!**»

Как видим, строка «самый человеческий человек» явилась после формул Асеева и Третьякова. Характерно, что и Асеев и Третьяков выступили анонимно. Свое личное вдохновение они черпали из непосредственного общения с народом — носителем образа, служили друг другу опорой в личном решении общей задачи. Стало быть, нельзя отрицать и того, что первые приближения портретистов к оригиналу помогли Маяковскому «дорисовать» свой синтетический контур образа Ленина.

В поэме Маяковского, как известно, опорное значение во второй ее части приобрела метафора: Ленин—капитан, Ленин—штурман — для создания картины поворота к нэпу. В свое время в статье о Герцене Владимир Ильич с восхищением цитировал слова Герцена о декабристах — «молодые штурманы будущей бури», дополняя и развивая их своими: «буря это движение самих масс». Не углубляясь далеко в традиции революционной публицистики, можно ду-

мать, что в приложении к самому Ленину и его роли в Октябрьской революции сравнение его с капитаном, штурманом, рулевым пришло из этого источника — от Герцена, процитированного Лениным. Характерно, что тот же образ 24 января 1924 года нашел свое место и в «Обращении ко всем трудящимся» Центрального Комитета нашей партии и Совета Народных Комиссаров накануне похорон Ленина. «Мы потеряли в Ленине главного капитана нашего корабля...»

В поэме Маяковского переход к нэпу от гражданской войны, от «бури» к мирному строительству изображен с помощью той же метафоры:

Залив
Ильичем
указан глубокий
и точка
смычки-причала
найдена,
и плавно
в мир,
строительству в доки,
вошла
Советских республик громадина.

С какой болью за тяжелую историю своего народа писал Маяковский о России, родившей предшественников Ленина, борцов против крепостничества:

Сверху
взгляд
на Россию брось —
рассинелась речками,
словно
разгулялась
тысяча розг,
словно
плетью исполосована.
Но синей,
чем вода весной,
синяки
Руси крепостной.

Поэма Маяковского внутренне полемична. Она дает Ленина в его революционной преемственности и в его обращенности в будущее. На первом чтении, в Красном зале МК, перед московским партийным активом, 23 октября 1924 года, Маяковский сказал, что он «хотел дать сильную фигуру Ленина на фоне всей истории революции, а не интеллигентский эстетский образ...». Его поэма остается непревзойденной, несмотря на то что художественная лениниана пополнилась с тех пор многими замечательными произведениями и круг их все ширится.

У Маяковского есть одно преимущество, которое навсегда сохранит свое значение. Как и Горький, он писал с натуры. Его поэма не только произведение большого художника, но и великий документ, свидетельство рядового современника. Маяковскому не довелось лично общаться с Лениным, о чем поэт мечтал, и тем более так близко, как это посчастливилось Горькому. Поэт вспоминает Ленина, как мог бы вспомнить каждый из миллионов, живших с ним в одно время, слышавших и видевших его на трибуне, тех, кто помогал ему делать всемирно-историческое дело освобождения трудящихся, вместе с ним радуясь по поводу успехов и горюя по поводу невзгод и трудностей молодой советской власти. Маяковский вместе со всеми пережил, утратив Ленина, общее и личное чувство огромного сиротства и ответственности за судьбу его дела. Вот тот аспект, тот взгляд на «весь мир огромный», по выражению Н. Полетаева, мир Ленина, который запечатлен в поэме Маяковского.

«Что он сделал, кто он и откуда — этот самый человечный человек?» — спрашивает поэт. Резкими штрихами лирической публицистики рисует он этапы революционного движения, подготовившие приход Ленина, 25 октября 1917 года — «ярчайший» день в новой истории родины и всего человечества, «ярчайший» и в жизни поэта. И вот прощание, прощание народа с Лениным, день похорон, тот день, который «векам войдет в тоскливое преданье»... Картина, нарисованная Маяковским, восстанавливающая образ Ленина через переживания народа и поэта, не знает себе в нашей поэзии равных по правдивости и художественной силе, по глубине социалистического реализма:

До боли
раскрыв
убогое зрение,
почти заморожен,
стою не дыша.
Встает
предо
мною
у знамен в озарении
темный
земной
неподвижный шар.
Над миром гроб,
неподвижен и нем.
У гроба —
мы,
людей представители,
чтоб бурей восстаний,
дел и поэм
размножить то,
что сегодня видели.

Наша поэзия может гордиться тем, что был среди людей на Красной площади поэт, который увидел всю Землю, почувствовал замерзший «темный земной неподвижный шар», — не всякому было дано увидеть столько и так далеко в бесконечности земной галактики и во времени. «Над миром гроб, неподвижен и нем...» Да, Маяковскому по плечу оказалось «размножить» то, чему были свидетелями и в чем участвовали массы, пошедшие за Лениным.

Однако Маяковский был не только великим мастером живописи словом, у него был дар «человековедения», как называл Горький художественную литературу. Портретом Ленина Маяковский отвечал на вопрос, волновавший все передовое в рабочей массе и интеллигенции, в жизни партии,

в самых значительных художественных произведениях тех лет после смерти вождя: вопрос о взаимоотношениях массы и личности. Маяковский оказался столь «мыслию богат», мыслью всей своей творческой эволюции на основе учения Ленина, что его поэма стала философской симфонией ленинизма, нашедшей свое выражение во всем содержании и построении поэмы, отлившейся в знаменитом афоризме ленинской партийности: «Мы говорим Ленин, подразумеваем партия. Мы говорим партия, подразумеваем Ленин».

Поэма Маяковского стала вершиной, с которой нам стало видно, сколько же еще предстоит сделать новым поколениям, нашим потомкам: «Века уж дорисуют, видно, недорисованный портрет».

Николай Тихонов

* * *

Июль девятнадцатый, год двадцатый,
Дворцовая площадь, по ней идет
Всех цветов кожи, замысловатый,
Интернациональный народ.

То делегаты Второго конгресса,
Шагая, глядят на громаду дворца,
Точно лишённую силы и веса,
Как этот ангел, что смотрит с отвеса
На равнодушную плоскость торца.

Все удивительно здесь делегатам:
Древней квадриги над Аркой полет,
Ходит рабочий по царским палатам,
Ленин по площади с ними идет.

Видит, шагая, он дальние ночи,
Тусклые свету рабочих трущоб,
Там, где кружки собирались рабочих,
Где он учил их, учился, пророчил,
Где о Победе мечталось еще.

Слышит слова иноземца собрату:
— Чувствуй, товарищ! Идем не во сне,
Здесь дело сделано. Точная дата!
Нам бы такую в своей бы стране...

Да, эта площадь, дворец, эта арка
Вписаны в нового века размах,
И от дыханья истории жарко
Нынче на хладных Невы берегах.
Вижу: уверен он, тверд и спокоен,
Слышу: народ приутих, не шумит,
Только лишь чайки кричат над рекою,
Он на трибуне, и он говорит.

Он говорит человечества ради,
Ради грядущего, об Октябре,
В этот последний приезд в Петрограде,
Перед дворцом, на вечерней заре!

РАЗМЫШЛЕНИЯ ВОЗЛЕ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ

Мы кузнецы, и дух наш молод.

Ф. Шкулев

Они недаром ходят, толки,
что в Горках памятной зимой
ты был у Ленина на елке,
мой современник дорогой.

Ту елку посредине зала,
как символ неба и труда,—
не вифлеемская венчала,
а большевистская звезда.

Светились лампочки и свечки.
Водили робко хоровод
вы, небольшие человечки,
ребячий чистенький народ.

И, сидя как бы в отдаленье,
уже почти уйдя от дел,
в последний раз товарищ Ленин
на вас прищуренно глядел.

И с торопливостью усталой,
еще стройна и не стара,
для вас торжественно играла
без нот, до самого финала
и снова сызнова, с начала
раскат «Интернационала»
его помощница — сестра.

А заробевшие вначале
девчурочки и сорванцы

уже, сияя, распевали:
«Мы кузнецы! Мы кузнецы!»

Да, дух ваш был и вправду молод
в те достославные года.
Они недаром, Серп и Молот,
над вами реяли тогда.

Никто не видел в те мгновенья
его, ушедшего во мглу.
Какие отблески и тени
прошли по бледному челу?

Он размышлял, любуясь вами,
о том, как нынешний народ
в боях простреленное знамя
в руках надежных понесет.

Он думал, глядя в дни иные
и в нашу жизнь из тех времен,
как сложится судьба
России
и всех народов и племен...

...И, глядя в прожитые дали,
отсюда, из своей земли,
давайте вспомним
в звездном зале,
что мы и нынче,
как вначале,
не отступились, не солгали,
не отреклись, не подвели.

Людмила Татьяничева

СОЛДАТСКИЙ ПОДАРОК

Шинелишка из ста заплат.
А глаза —
Голубее неба...
В Кремль принес пожилой солдат
Полкраюхи ржаного хлеба.
На ладонях
Твердых, как жечь,
Подав хлеб он
 в чистой холстине.
— Пусть досыта Ильич поест,—
Год уж больно голодный ныне...—
Был с вождем поделиться рад
Он пайковой краюхой бедной.
Так с солдатом
Делит солдат
Перед боем сухарь последний!

В КАБИНЕ КОСМОНАВТА

В глухой провинции вселенной
Планет что снегу намело.

На космонавта смотрит Ленин
С портрета дружески-светло.
В глазах спокойное вниманье,
И утвержденье,
И вопрос,
И дорогое пониманье,
Насколько этот путь непрост!

Враги нам гибелью грозили
И нашей гибелью клялись.
Легко ли лапотной России
Взбираться было в эту высь!

Легко ль,
Прорвавшись в эти дали,
Где смерть и вечность
В двух шагах,
Пространств и времени скрижали
В своих удерживать руках?!

Завидной чести удостоен,
Ведет корабль среди планет
Великий труженик и воин
И революции полпред.
На космонавта смотрит Ленин
С портрета дружески светло.

В глухой провинции вселенной
Планет что снегу намело...

Владимир Гордиенко

* * *

Не стареют солдаты у входа.
Не тускнеют доспехи ветвей.
Я за все эти долгие годы
Много раз приходил в Мавзолей.

Здесь молчанье плывет по ступеням
И владеет потоком людским.
Вот он спит —

 утомившийся Ленин,
И рабочее знамя над ним.

Спит Ильич.
 Мы поверить не вправе
В то, что взгляд его чистый угас.

Ведь нельзя справедливой державе
Без внимательных ленинских глаз.

Ведь на все,
 что сегодня мы строим,
На вчерашний и завтрашний путь,
На проблемы свои и устои
Нам по-ленински надо взглянуть.

И, пройдя в этом шестивии тесном,
Так желаешь прожить,
 чтоб и впредь
Ты всегда мог открыто и честно
В Ильичевы глаза посмотреть.

Лев Озеров

* * *

Как мало жил он! Пятьдесят четыре,
Но дни его так яростно-полны
Заботой о судьбе своей страны
И потому — о человечестве, о мире.

Как много жил он! Годы — что века.
Его дороги — всей земли маршруты.
Его всей жизни цель так велика,
Что нет напрасно прожитой минуты.

Как жил он много, и как жил он мало,
И, видно, был он временем самим,—
История едва лишь попевала
По коридорам Смольного за ним.

* * *

Он предсказанье обратил в науку,
Он Ноября предвидел день седьмой.
Впервые положил философ руку
На колесо истории самой.

Дмитрий Ковалев

* * *

Как он умел душою оставаться
Всего,
Во всем,
Всегда собою быть,
В разлуках с близкими не расставаться,
В новейшем по-старинному любить.
И на виду у всех себя поправить —
Предостеречь примером,
Приберечь,
Что поучительно,
Себе на память.
Как он берег от суесловья речь!
Как он кипел,
Как хохотал, несдержан,
Как рисковал в опасный самый миг.
Когда касалось принципов самих —

Как был непримирим, самоотвержен!..
И все понятней и понятней людям,
Какой он человек
Во всем, во всем.
И лишь тогда по-ленински мы судим,
Когда в себе мы это все несем.
Когда, своих ошибок не скрывая
И чувствуя времен и действий связь,
Глядим на все — как есть и жизнь
живая,—
Самих себя пред всеми не боясь.
И все, что он оставил, с каждым днем
Для нас теперь крупнее и крупнее —
Не потому ль, что сами мы растем,
Что сами мы становимся мудрее
И что себя мы открываем в нем?..

Игорь Ринк

* * *

Площадь у Финляндского вокзала.
На платформах — бойкий говорок...
Это здесь — великое начало
Наших удивительных дорог.

В день туманный пробираясь ощупью,
В праздник под веселым кумачом,
Хорошо идти нам этой площадью,
Каждый раз встречаясь с Ильичем.

Это здесь, рабочими руками
Вознесенный на высокий пост,
Над своей Россией,
над веками,
Ленин встал впервые в полный рост.

Он стоял, уже сердцами властвуя,
А когда настала тишина,
Крикнул Революции:
«Да здравствует!..»
И поныне здравствует она.

ДЕТИ ЛЕНИНА

Третий год Октября... Мостовые
в пятнах луж... тротуары в грязи...
Потускневшей столице России
голод лапой костлявой грозит...
На вокзале толкучка и давка.
Здесь народищу невпроворот.
Кто храпит на мешках и на лавках,
кто теплушки нахрапом берет.
Два матроса у края перрона,
два колосса с оружием в руках,
охраняют пустых два вагона,
уваженье внушая и страх.
Но, приблизясь к вагонам на миг,
одолеть любопытство не в силах,
дооктябрьская дама спросила:
«Для кого стережете вы их?»
Улыбнулся могучий матрос:
«О вагонах тревожитесь этих?
Что ж. Ответить могу на вопрос.
Ехать будут в них Ленина дети!»
Дама прочь отошла, семена,
а мужчина, толпою зажатый,
то ль попутчик, то ль провожатый,
проворчал, суматоху кляня:
«Все, как было, осталось на свете.
Только зря будоражат людей.
Раньше ездили царские дети,
нынче — дети народных вождей.
Нам давно это дело знакомо...»
Вдруг услышал он — песню поют.
Шли ребята из детского дома,
что вчера назывался «приют».
С песней шли сквозь толпу на вокзале.
Расчищали им путь патрули.
Их детьми Ильича называли
и вагоны
для них
стерегли!

Евгений Долматовский

БАЛЛАДА О ПАМЯТНИКЕ

Германия в сорок пятом
Запомнилась навсегда.
Врывалась огнем расплата
В старинные города.
Мы брали их, мы входили,
Штурмуя за домом дом.
Что мы их освободили,
Понятно им стало потом.

Победа. Покой внезапный.
И — летом — приказ на марш:
Еще переход на запад
Проделает корпус наш.
Осела, остыла ярость,
Колонной идут полки.
Вот горы — на ярус ярус,
Медные рудники.

Не знал я, что есть на свете
На склонах саксонских гор
Эйслебен — дитя столетий —
И чем он велик и горд.
Возник городок в пространстве.
Домишки — стена к стене.
Над кирхою лютеранской
Голуби в голубизне.

Прошли мы такие дали
Сквозь грохот, а то — сквозь тишь,
Что кажется, все видали,
Ничем нас не удивишь.
Эйслебен — пускай Эйслебен,
Город очередной...
И вдруг
На площади —
Ленин!
Товарищи, что со мной?

Понять это чудо сиясь,
Не верю глазам своим,
Как будто в горах сместились
Эпох и веков слои,
Как будто в походе этом,
Шар обогнув земной,
С другой стороны планеты
Вступаю я в край родной.

Нас обнимают крепко,
Сбежавшись со всех сторон,
Костлявые немцы в кепках,
В фуражках с витым шнуром.
А мы молчим в изумленье,
И слезы кипят у глаз:
Какой дорогой Ленин
Пришел сюда раньше нас?

Пора открываться тайнам.
История жестока:
Памятник сбили танком
На площади городка;
Безумцы в квадратных касках
Забыли, как близок суд,
Какую они закуску
Для ненависти несут.

Не просто запасы бронзы
В Германию повезли,
А символ живой и грозной,
Не сдавшей в плен земли.
Так прибыл товарищ Ленин
В дни горестей и потерь
В тот самый город Эйслебен,
Куда мы пришли теперь.

Работали на разгрузке,
Где каждая гайка в счет,
Несколько пленных русских
И немец — костлявый черт.
Взойдя на платформу первым
Проверить прибывший лом,
Он вдруг огляделся нервно,
Платком отирая лоб,

Потом подозвал советских
Мальчишек с нашивкой «ОСТ».
«Работать!» — прикрикнул резко.
Смотри — он не так-то прост!
Медлительно и спокойно
Скульптуру несли на склад,
Ничем не смутив конвойных,
Выдерживая их взгляд.

В подполье уходит Ленин,
Как будто опять — Разлив!

Спасли его от глумленья,
В пакгаузе тайник отрыв,
Проволокою ржавой
Переплели подход.
Что виселица угрожала
Любому из них — не в счет.

Была тогда, в сорок третьем,
Победа так далека...
Но в сорок пятом встретил
Ленин свои войска.
Я помню то утро счастья

И как венок возлагал
Старый немецкий мастер
Под временный пьедестал.

Теперь уже все известно —
Кто эту скульптуру скрыл,
А также город и место,
Где памятник раньше был.
На том постаменте Тельман
Сегодня стоит у нас.
Но это уже отдельный,
Мой следующий рассказ.

Андрей Алдан-Семенов

В ЛЕСАХ ВОСТОКА НЕ БЫЛ ЛЕНИН...

По темным дебрям саксаула
Вагоны душные текли.
И вот, как молния, мелькнула
Свинцовым пламенем Или.

Река унылая, нагая,
Хоть задыхайся от тоски,
Шуршат барханные пески,
На голый берег набегая,
Похрустывают солью белой,
Грозят полынною бедой.

И вдруг как будто посвежело,
Как будто чайки — над водой.
Качается, встает и льется
Воды немеркнущая гладь,
И голос моря раздается
И повторяется опять.

Морская даль,
Простор морской!
Не за горами эти дни,
Когда мы волей трудовой
Изменим берег Копчагая.
Вот почему я вижу чаек
И гидростанции огни.
И снова, полный изумленья,
Я думаю:
«Повсюду есть
Земли отцовской обновенье.
В песках пустыни не был Ленин,
Но он живет сегодня здесь».

Грохочет, мчится поезд дальний
Во весь разгон на океан.
И, собственной силищей пьян,
Уже Байкал ломает камни,
Волной бросается литой
В летящее окно вагона.
И кажется, вагон зеленый
Висит над бездной голубой.

И здесь, над Ангарой гудящей,
Встает турбинная заря...

А поезд мчится через чащи —
Через зеленые моря.
В своей стремительности хмур,
Он перелески рвет, как сети,
И на лесном сыром рассвете
В окно врывается Амур.

И снова, полный изумленья,
Я думаю:
«Повсюду есть
Земли и жизни обновенье.
В лесах Востока не был Ленин,
Но он живет сегодня здесь».

И где бы я сегодня ни был —
В тайге ли,
В тундре ледяной,—
Над головой — родное небо
И правда Ленина со мной.

Аделина Адалис

[1900—1969]

* * *

Нет, мы не рождаемся с душой:
Жизнью вырабатываем душу.
Этот поправкой небольшой
Вечную иллюзию разрушу,—
Страхам старины и новизны—
Вымыслу о бренности— не верьте:
Смертными на свет мы рождены,
Чтобы зарабатывать бессмертье.

Аннаберды Агабаев

ХИВИНСКИЙ ЭТЮД

Три последних минуты осталось, последний хан!
Кончатся три минуты — Хивинское ханство падет.
Под пристальным взглядом маузера,
Сквозь проклятья дехкан,
Год двадцатый по лестнице вниз тебя поведет.
Часы возмездья пробили,—
Не бог ты, не власть, не гроза.
Скоро снегом Сибири
Засыплет твои глаза.
А время дальше помчится,
Годы на дни дробя.
И новое племя родится,
Не знающее тебя.
И будет девичьи косы
Юноша трогать, любя,
И будут сиять абрикосы.
И все это —
Без тебя!

Сейчас ты отсюда выйдешь...
И я в твой дворец приду
В далеком — ты не увидишь —
Семидесятом году.
Но вместе с двадцатым годом
И я тебя нынче сужу.
С моим восставшим народом
И я приговор подпишу.

Дворец. Здесь под плетью корчились,
Стон здесь стоял и плач...
Но три минуты не кончились,
Ты нам отвечай, палач!
Встает чабан, мой ровесник.
И ты ему дашь ответ
(На три минуты воскресни,
Мой, сгнивший в зиндане, дед).
И женщина ждет ответа
(Как схожа с моей женой!).
О, если бы видел это
Джигит, казненный тобой!
Все твое бывшее ханство
Сегодня — огромный суд,
Все закоулки пространства
Тебе проклятья несут.
Настала твоя пора.
Вот выглянул маузер холодный.
Расстегнута кобура.

ИМЕНЕМ

ХОРЕЗМСКОЙ

НАРОДНОЙ...

Товарищ Маузер, дайте мне слово.
Дайте мне слово, товарищ комиссар.
Над всеми крышами края родного
Я цветущим деревом сегодня нависал,
Я прохладным ветром пролетал по дорогам,
Я заглядывал в окна, двери, глаза,
И я должен сказать вам совсем немного,
Но я обязательно должен сказать.
Потому что везде, по всей земле свободной,
Куда ни пойдешь, куда ни кинешь взгляд,
Слышу:

ИМЕНЕМ

ХОРЕЗМСКОЙ

НАРОДНОЙ...

Купола мечетей древних гудят.

ИМЕНЕМ НАРОДНОЙ —

шелестят весенние травы,

ИМЕНЕМ

ХОРЕЗМСКОЙ —

голоса детишек в саду.

И я должен сказать вам:

Как вы были правы,

Когда были суровы

в том,

двадцатом году.

Перевод с туркменского Е. Храмова

Маргарита Алигер

БАЛЛАДА О ФРАНЦУЗСКОМ СТУДЕНТЕ

Что влечет молодые умы
в Кордильеры, на тайные тропы?
...Тридцать лет боливийской тюрьмы —
добровольцу далекой Европы.
Тридцать лет. Тридцать лет. Тридцать лет.
А ему тридцати еще нет.

Парижанин, недавний студент,
он оставил друзей на Бульмише,
свой язык, свой родной континент
и на трассу опасную вышел.
Чей, откуда услышал он зов
и в какого поверил кумира
в диком хаосе скал и лесов
непонятного Третьего Мира?
Революции трепетный свет.
Этих молний во Франции нет.

Революция, дева, сестра!
Начинается бой настоящий.
Разгорается пламя костра
в партизанской таинственной чаще.
Этот Третий загадочный Мир,
он созрел, он готов для удара.
Дай сигнал, боевой командир,
знаменитый майор Че Гевара!
Подыми свое войско в поход.
Проверяются силы в походе.

...Сомневается нищий народ
и глаза ненароком отводит.

Неужели еще не пора
и не хватит огня для пожара?

Кровью залито пламя костра,
и растерзан майор Че Гевара.

Растоптали надежду твою,
и закончилась смелая трасса
не в атаке, не в равном бою,
а в угрюмом застенке Ла-Паса.
Двери замкнуты. Выхода нет.
Тридцать лет. Тридцать лет. Тридцать лет.

А тебе еще нет тридцати...
Революция,—

кто ее знает?!

Ты хотел проложить ей пути.
А она их сама выбирает.

И пока ты в неволе сидишь,
баррикады возводит Бульмиш.
Может, там ты сегодня нужней...
Значит, так и метаться за ней?
Откликается эхо в ответ:
Тридцать лет. Тридцать лет. Тридцать лет.

Революция тем и сильна,
потому и не знает преград,
что людей не считает она,
что всегда ей хватает солдат.
Пусть отважные выйдут вперед.
Пусть разведают, пробил ли час.
А она, если что, переждет,
если надо, так скроется с глаз.
И останется снова жива.
И окажется снова права.
Встанет армия новых бойцов,
и решит, что умнее отцов,
и рванется вослед за отцами.
Мы сильнее!

Мы иначе!

Мы сами!

И найдется затерянный след...
Передайте французам привет!
Тридцать лет. Тридцать лет. Тридцать лет.

Тридцать лет,
и они пролетят,
небольшим переменам в угоду.
Кем ты вырастешь, бедный солдат?
На какую ты выйдешь свободу?
Сохраняет ли в людях тюрьма
силу духа и ясность ума?
Что свершится за эти года?
Что изменится в людях и в мире?
И припомнит ли кто иногда
о тебе и твоём командире?
Кто-то вспомнит... А кто-то — и нет.
Тридцать лет. Тридцать лет. Тридцать лет.

Вадим Антонов

ТРАКТ

Нынче тундра, размытая в сером,
Вся пронизана мелким дождем
Необычным напевным размером,
Где слышны все размеры в одном.
Нынче воздух прохладно-накрапист,
Нынче тракт неразгаданно нов,
И звучат ямб и плавный анапест
В интервалах дорожных столбов.

Видно, ритм этот странно двоякий
Станет ясен чуть-чуть погода.
Мокнут птицы, как нотные знаки
Нескончаемой песни дождя,
И у залитой норки полевки
Одинокий приземистый куст
Над настилом сосновой лежневки
Стережет невеселую грусть.

Но трянуло. Фонтанами грязи
Обдавая притрактовый хлам,
Мчит с брезентовым кузовом «газик»
По утопленным в глине стволам.
Небо грузно провисло над нами
Сеткой тонкого решета.
Подъезжаем. Встречает огнями
Современная Воркута.

Евгений Антошкин

* * *

А бабушка меня любила.
Несла через речушку вброд,
Когда смотреть в тот день водила
На поле севший самолет.

И, тяжело спустившись с кручи,
Взглянув вперед, как сквозь туман,
Губами лишь шепнула:
— Внучек,
Какой большой аэроплан!

И вдруг сама в ответ смутилась,
И опустилась на траву.
И робко так перекрестилась,
Его увидев наяву.

Меня измучила дорога.
Не все я рассмотреть успел.
И от волненья, как на бога,
На летчика в очках глядел.

Он был в мазуте весь и в глине,
От подбородка до сапог.
Я подошел, и алюминий,
Как током, руки мне обжег...

И мне тогда казалось чудом,
Когда, решителен и смел,
Он все вокруг заполнил гудом
И вдруг над лесом пролетел.

Белла Ахмадулина

* * *

Последний день живу я в странном доме,
чужом, как все дома, где я жила.
Загнав зрачки в укрытие ладони,
прохлада дня сияет, как жара.

В красе земли — беспечность совершенства.
Бела бумага.
Знаю, что должна
блаженствовать я в этот час блаженства.
Но вновь молчит и бедствует душа.

* * *

Однажды, покачнувшись на краю
всего, что есть, я ощутила в теле
присутствие непоправимой тени,
куда-то прочь теснившей жизнь мою.

Никто не знал, лишь белая тетрадь
заметила, что я задула свечи,
зажженные для сотворенья речи,—
без них я не жалела умирать.

Так мучилась! Так близко подошла
к скончанью мук! Не молвила ни слова.
А это просто возраста иного
искала неокрепшая душа.

Я стала жить и долго проживу.
Но с той поры я мукою земною
зову лишь то, что не воспето мною,
все прочее — блаженством я зову.

Яков Аким

ГРАНИЦА

Г. Граубину

Нас встречают друзья на заставе.
Тишь. Ленкомната. Стол без затей.
Хоть не сказано это в уставе —
Мы читаем стихи для детей.

Доводилось в торжественных залах
И с трибун выступать, и со сцен,
Но забыть ли, с какими глазами
Слушал нас молодой офицер.

Как солдатские юные лица
Повторяли дыханье твое...
Здесь суровая жизнь, на границе,
И жестокая проза: «В ружье!»

А в стихах — облаков безмятежность,
Полусонного детства полет.
Нет, не зря ты уверовал в нежность,
Ту, что мужество людям дает.

* * *

Моя икона — женское лицо.
Среди теней и огородных пугал
Ищу его, как в доме красный угол,
Как взор в пустыне ищет деревцо.

Я, словно талисман, его ношу,
Твое лицо — надежду и усладу.
С рассветом возжигаю, как лампаду,
И ночью вместе с лампою гашу.

В огромном городе, меж суеты,
На улице, в толпе тысячелицей,
Все кажется, что могут повториться
Твои черты.

Вот впереди мелькнуло пальтецо.
Постой. Уйми мальчишечью отвагу.
Но сердце дрогнуло. Я прибавляю шаг,
Оглядываюсь — и смотрю в лицо.

Александр Балин

МОЕЙ АРМИИ

Как ни мудри,
она придет,
И свалишься...
Что ж,
жизнь избыта,—
Над бывшим сердцем укрепят
Медаль победную мою,
И кто-то скажет,
может быть:
— Убит солдат осколком быта...—
Не верю!
Упаду ничком
Под красным знаменем в бою.
Пока гремят в моих ушах
Трубы тревожные сигналы,
А я знаком с огнем,
с водой
И с медной боевой трубой,—

Все буду жив,
как вечно жить
Словам «Интернационала»:
Ему я присягал в бою,
А он еще не кончен,
бой.
И потому моя строка,
как сталь курка,
На вечном взводе,
И слово точное в строке,
Как эхо яростных атак,
Но на далекие костры
В своем родном десантном взводе
Я хоть сейчас бы променял
Свой поэтический верстак.
И потому мое плечо
Принять готово тяжесть стали,—

Оно запомнило навек
 Вес броневой ружья.
 Мы по-гвардейски с ПТР
 И вместе с юностью летали.
 Как будто в затяжном прыжке
 Судьба солдатская моя.
 Но —
 не витаю в облаках,—
 Как друга,
 я кувалду знаю,
 И вздох компрессора тугой,
 И смех детей,
 и взлет стрижа,
 Но даже в тихую грозу
 Я гром орудий вспоминаю,
 И молния напоминает
 Мне сталь десантного ножа.
 Глянь,
 седина —
 она, война...
 Ох, как хотелось бы забвенья:
 Рвать васильки в широкой ржи,
 В ночное погонять коней...
 В глаза любимые смотрю
 В часы ночного откровенья
 И говорю:
 — Твои зрочки
 Шрапнельной пули покрупней.—
 А лучше песню бы сложить
 О том,
 как ждут солдат девчата,
 Как над родным крыльцом избы
 Грустит отцовская ветла,
 Но на груди моей горят
 Три следа,
 как от вил-тройчаток,
 И потому иная песнь
 меня в дорогу
 Позвала.
 Я запевай ротным был
 И запевай про Лизавету,—
 Под эту песню мы несли
 И Молодость,
 и ППШ...
 Друзья далекие мои!
 Прошу:
 простите мне,
 поэту,
 Суровые шеренги строк,—
 Такая уж у них душа.
 «На высоте творя полет,
 Неся распластанные крылья..» —
 Я вместе с вами пел ее
 (Вы помните?)
 у сопки Белой.
 В своем гражданском пиджаке

Шагал усердно
 (не забыли?),
 И —
 «Выше ножку,
 гражданин!» —
 Слышал,
 от счастья оробелый.
 ...Сто раз спасибо,
 военком,
 За то,
 что в юность боевую
 Хоть на три месяца вернул,
 Вдохнул в меня крылатость сил.
 И я не уйду с поста,
 Несу свою сторожевую,
 Какой бы ветер ни хлестал,
 Какой бы дождь ни моросил.
 Да,
 над строкой,
 как над людской
 Судьбой...
 В окне моем —
 березы.
 А где-то звезды и большак,
 Которым уходит в зарю...
 Курю и вижу,
 как ничком
 Березы падают в морозы
 На большаки,
 что под Москвой,
 И память —
 не благодарю.
 И вижу:
 пальмы,
 и напалм
 Их лижет.
 Хижины и дети...
 В боеголовках броневых
 Томится смерть —
 слепа,
 жарка...
 Обязан трудно и светло
 Я жить на этом белом свете.
 Жить устремленно,
 высоко,
 Как для последнего броска.
 ...Будь продолжением руки,
 Моя строка,
 будь арсеналом
 Всех добрых дел,
 что я в бою,
 В труде —
 всем существом познал...
 Тепло живое Ильича
 Под знаменем гвардейским алым
 Я чувствую своим плечом...
 Гремит «Интернационал»,

Александр Безыменский

СУХАРЕВКА 1919 ГОДА

(Из стихотворной повести «Путешествие в комсомольскую юность»)

...Сухаревка закрыта. Но страшна не та Сухаревка, которая закрыта. Закрыта бывшая Сухаревка на Сухаревской площади. Ее закрыть нетрудно. Страшна Сухаревка, которая живет в душе и действиях каждого мелкого хозяина. Эту Сухаревку надо закрыть.

В. И. Ленин

Сухарев рынок!
Сухарев рынок!
Мутное море
Людских песчинок...

Нагло теснясь на огромной площади,
Плотной толпою стоят вперемежку
Люди, ларьки, рундуки и палатки,
Лавки, лабазы, ручные тележки.
Реет над ними задиристый запах
Вкусного дыма и горького чада.
Примусный хор на столах косолапых
Славит всесилье Обжорного ряда.
Здесь повара высочайшего класса
Вмиг превращают собаку в корову,
Из требухи создают колбасы,
Делают копии супа и плова,
Нечто мясное без примеси мяса,
Нечто мучное без крошки мучного.

Обжорный ряд!
Знаменитый ряд!
Обманутым — будешь,
Сытым — навряд...

Ретив базар.
Криклив базар.
А вот кому
Любой товар!
Могуч базар!
Кипуч базар.
В душе
угар,
В уме
хабар.

Площадь волнуется, спорит, ярится...
Хищные руки... Нахальные лица...
Мнительных граждан, которых сюда
В трудную пору толкнула нужда,
Стиснула шатия хватов и выжиг,
Бойких, речистых, развязных, бесстыжих.
Вещи! Несметные груды вещей
Здесь продает мелкосортный Кощей.
Многие вещи отмычкой добыты,
Куплены взяткой, ханжою¹ омыты,—
Вещи, которыми люто бедны
Склады рабоче-крестьянской страны.
Рынок добычу растыкал по складам,
Скрытым в притонах на Сретенке,
рядом,
Скрытым в глухих домниковских дворах,
Даже и днем вызывающих страх.

Лавка Бейлинова.
Трактир Катинова.
Сбыт подделанного,
Купля краденого...
Орет базар.
Бурлит базар.
Хватай, бери
Любой товар!

«Махорка! Махорка! Махорка-
крупчатка!
Во рту горько, на сердце сладко!»
«Чудесный мех! Замечательный мех!
Даже в Париже имел успех!
Мех не надо искать в Париже,
Взять у меня — гораздо ближе».
«Подарочек-прима! Кавказский абрек!
Фарфоровый статуй! Шешнадцатый
век!»
«Эта пуговица тверже льда.
Пришивается раз, однако же навсегда».
«Ты что, господин, головою поник?»

¹ Ханжа — денатурат, разведенный водой.
Спиртной деликатес 1914—1920 гг.

Не нужен ли паспорт? Обделаем вмиг!»
 «А вот молоко, хотя и без пенок.
 Недорого стоит: аршин керенок!»
 «Пшеничного хлеба откусать изволь.
 Мне денег не надо. Меняю на соль».
 «Химически чистый, отстоянный лак!
 Вполне заменяет вино и коньяк!»
 «Берите рубашки! Берите кальсоны!
 Покрой Чемберлена, фасон Вильсо́на!»
 «Отрез коверкота!»
 «Святая иконка!»
 «Альбом анекдотов!»
 «Рванина! Бульонка!»...

Вот оно, торжище,
 вот оно, капище
 Тех, кто свершает
 свой жизненный путь,
 Чтоб у людей,
 хоть щепотью, хоть лапищей,
 Что-нибудь вырвать,
 урвать,
 хватануть.
 Вот он, Кумир,
 умиленно прославленный

Теми людьми,
 у которых душа
 Выжата,
 выжита,
 смята иль сдавлена
 Мощью Копейки
 и властью Гроша.

Сухарев рынок!
 Сухарев рынок!
 Труден и долг
 Наш поединок.
 Эти палатки,
 Лабазы, ларьки
 Можно смести
 Мановеньем руки.
 Но не исчезнет,
 Того не заметишь,
 Мир,
 породивший тебя на планете.

Сухарев рынок!
 Сухарев рынок!
 Не прекращается
 Наш поединок.

Сергей Баренц

ВНОВЬ Я ПИСЬМО ЧИТАЮ

Вновь я письмо поблекшее читаю,
 Где строчки на листках
 Едва видны.
 Его, на марше,
 Почта полевая
 Вручила мне в последний день войны.

Листки дрожат...
 Дымятся переправы...
 За танками я снова в бой спешу...
 Товарищ мой
 Упал у самой Влтавы,
 К последнему рванувшись рубежу.

Густеет даль.
 Заря над лесом тает.
 И по лугам плывет вечерний свет.
 А я письмо военное читаю,
 И больно мне,
 Что рядом друга нет.

ГОРИТ СОБОР

Весь город наш. Предместия и центр
с готическим собором, крепко вбитым
в угрюмое, продымленное небо,
зажженным отступающим врагом...
Ревет во тьму клокочущее пламя
тыщеголосым криком мастеров,
строителей безвестных, подмастерьев,
каменотесов, резчиков по дубу...
И кажется, что мечутся повсюду
не языки пожара, а они
в своих багровых фартуках снуют
по обреченным балкам и карнизам
и руки простирают из огня:
«Сюда! На помощь! К нам!..» И дымный
воплъ!

И треск ломаемых в тоске запястий!..
О, как двенадцатый взывает век
к двадцатому! — всей дымною машиной,
всей страшной силой тесаного камня,
летающего сквозь пляшущий огонь!
Всем исступленьем стрельчатых аркад!
Всей силой потрясенных контрфорсов!
Вопящим ртом портала — он взывает
к двадцатому!..

Красноармейцы
работают саперною лопатой
и топором — растаскивают балки,
заваливают талою землей,
замешенной со снегом, злой огонь...
Сырой, горячий пар клубится клубом
над мокрыми шинелями бойцов,
и автоматы пляшут за спиной,
чтоб не мешать работе... А ушанки
рукой привычно сбиты на затылок,
и светится на загорелых лицах,
обветренных, суровых, обожженных,
синь курского и ладожского неба,
и русская звучит просторно речь:
«А ну, давай! Нажмем!»... Как будто здесь
работает не взвод саперный, — утром
грудь в грудь железом вышибавший
немцев, —
а ладная бригада землекопов...
«А ну, дружней!..»

1945

Михаил Беляев

НА ВЫСОТНОМ РУБЕЖЕ

Цепь залегла рассветной ранью
Почти у самых облаков.
Тут у камней сверкают грани,
Как будто грани у стыков.

И в трудном ожиданье боя
Не оживится разговор.
Такого не найти покоя
Там, у крутых подножий гор.

Но вскрикнет с перепугу камень,
Едва его в выси задень:
Над водопадами, лесами
Он будет падать целый день.

Как ледники, стекают ветры —
И тяжелы
И голубы.
И разверзаются тут недра
За каждым вывихом тропы.

Вершин зовущее всесилье!
Чувствительнее каждый шаг,

Когда, как сложенные крылья,
Блестят погоны на плечах.

Когда летит над миром этим
Не выстрел, а спокойный взгляд,
Горят, как маки, в раннем свете
Зубцы обветренных громад.

К зубцам,
К недремной вечной стуже,
Из хлебных вспаханных долин
К вершинам поднято оружие,
Чтоб тишина текла с вершин.

И тут, где глыбы тяжелеют,
Все тишиной отозвалось.
И дали так промыты ею —
Все видно, кажется, насквозь.

Над этой ширью обнаженной
Не удержи в руках затвор —
И оборвется мир со стоном,
Как камень,
Падающий с гор.

Николай Берендгоф

НА МАМАЕВОМ КУРГАНЕ

Длилась битва на Мамаевом кургане,
И в предсмертный час
Здесь, сражаясь до последнего дыханья,
Помнили о нас.

Ночью снилось: ходят скорбными рядами
Тени матерей.
Им война— всегда сплошное ожиданье
Писем сыновей.
Но светла, чиста, как тихие березы,
Русская тоска.
Лишь украдкой утирала слезы
Кончиком платка.

Валентин Берестов

СТИХИ О МОЕМ ДЕТСТВЕ

ГОРОДОК

О перекресток детства! В мир безбрежный,
В его простор, желанный, неизбежный,
На юг, на север, запад и восток
Идут дома... Мой санный и тележный,
Мой летом травяной, зимою снежный,
Мой деревянный, с виду безмятежный,
Садово-огородный городок.

БРАТЬЯ

Дом
Ходуном!
Мать ужасом объята:
— Опять дерутся!
Брат идет на брата.

И гонит нас во двор,
В толпу ребят.
Двор ходуном:
Встает за брата брат!

ТЮРЯ

Мама ходит, брови хмуря,
Громко шепчет, учит роль.
Значит, нынче будет тюря —
Лук да масло, хлеб да соль.

Пол не мыт, цветок не полит,
Под плитой огонь погас.
И никто детей не школит,
Не воспитывает нас.

Артистической натуре
В день премьеры дела нет

До забот житейских. Тюря —
Вот наш праздничный обед!

Разбиваются стаканы,
Отбиваются от рук.
В миску воду льем из крана,
Хлеб крошим и режем лук.

А в глазах у мамы буря,
А в движеньях торжество,
Вот так тюря!
Что за тюря!
Нет вкуснее ничего!

СОБОР

Не было в детстве не то чтобы гор,
Не было даже холмов.
Белой громадой ломился собор
В небо от наших домов.

Колокол был Революцией снят,
Взгляд не тянулся к кресту.
Черных соборных часов циферблат
Нас увлекал в высоту.

Время узнать — значит в небо взглянуть,
От суеты унести.
Как величаво свершали свой путь
Стрелки, ушедшие в высь.

Солнце пылало. Туча плыла.
Птичье мелькало крыло.
Прямо из камня березка росла.
Время текло.

СЕМЕЙНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Натягиваю новую матроску,
И поправляет бабушка прическу,
На папе брюки новые в полоску,
На маме ненадеванный жакет.
Братишка в настроении отличном,
Румян и пахнет мылом земляничным,
И ждет за послушание конфет.
Торжественно выносим стулья в сад.
Фотограф расставляет аппарат.
Смех на устах. Волнение в груди.
Молчок. Щелчок. И праздник позади.

НА ЧУЖОЙ СТОРОНЕ

Хватило мальчишеских сил.
Я реку мою переплыл.

И вот я на том берегу.
Зубами стучу на бегу.

Вступаю в неведомый край.
Ракита. Корыто. Сарай.

Крапива. Горшки на плетне.
Один на чужой стороне!

УРОК РИСОВАНИЯ

Учитель положил на стол морковь.
Раскрыл альбом примерный ученик.
«Вон тот бочок в тени — дадим штриховку,
А этот на свету — положим блик».

Малыш трудился, не жалея сил,
Штриховку
На морковь
Наносил.
И все ж явились рядышком с морковкой
Два зайца, пароход, солдат с винтовкой.

ЧЕЛОВЕЧЕК

Мальчишке четыре года.
В руке зажженная свечка.
Внутри платяного шкафа
Рисует он человечка.

Как предки во мраке грота,
Колдует он днем с огнем.

И сразу же позабудет
О человечке своем.

Но то, что сейчас украдкой
В шкафу нарисует он,
Для взрослого станет загадкой
Непостижимых времен.

* * *

Полна, как в детстве, каждая минута,
Часы опять текут неторопливо,
И сердце переполнено твое.
Любовь — замена детства. Потому-то
Насмешливо, презрительно, ревниво,
Пугливо смотрит детство на нее.

* * *

Когда душа обиды не смолчала,
Я жизнь свою решил начать сначала.
Тайком сложил пожитки в чемодан,
Дверь затворил и вышел в ночь, в туман.
И, горько весел, празднично бездомен,
Я заново открыл, что мир огромен,
И не заметил сам, как налегке
В родном я очутился городке,
И вспомнил то, что детство обещало,
И взял перо, и начал жить сначала.

Павел Богданов

ИНВАЛИДЫ ВОЙНЫ

Чтоб доказать, кто мы такие,
Каким огнем опалены,
Нам даже справки не нужны.
Верней их — шрамы боевые:
Автографы самой войны!

Виктор Бершадский

* * *

Под санями дорога хрусткая.
В шубке девичьей на меху
едет, едет Надежда Крупская
по сибирскому большаку.
Чуть подернуто дымкой синею,
стынет озеро впереди.
Лампу новую,
керосиновую,
прижимает она к груди.
В поселенье глухом, завьюженном,
через судьбы и времена,
лампа бросит в далеком Шушенском
свет из ленинского окна...

Ищут сыщики конспирацию,
подгоняет охранку царь.
Вместе с Лениным в эмиграции
«Искры» пламенный секретарь!

...А потом она
в кресле кожаном —
агитпроп пролетарских масс,
в сарафане своем поношенном,
с добрым взглядом усталых глаз.

В наркомпросовском
строгом здании
кабинет ее отвори —
исторические издания:
книги Маркса и буквари...
Через жизнь свою вдохновенную,
как жена
и как верный друг,
пронесла она лампу Ленина
и не выронила из рук.

Александр Богучаров

НАВОДНЕНИЕ В АБАКАНЕ

Все я думал — приеду скоро.
И беда моя — не беда.
Здесь в курганы ушли да в горы
Молодые мои года.
Все я думал — встречает тополь,
Бьет по дереву снегопад,
И над городом, как Акрополь,
Элеватор — огней каскад.
Этот город в себе вынашивал,
Все обиды тех лет забыл.
Помнил улицу Чертыгашева,
Одолень-траву, чернобыл, —
В степь моя уходила улица,
Глухо падала в Енисей,
На Саяны всходила улица
Продолженьем жизни моей.

Я проснулся июньской ранью.
Телетайп поднял города:
«Дам-бу но-чь-ю с-мы-ла во-да.
На-во-дне-ние-е в А-ба-ка-не».

Люди спали. Как они спали
После бешеной посевной!
Так солдаты, я помню, спали
В полночь мира перед войной.
Соски вытолкнув, спали дети
И астматики-старики
В центре Азии, на планете,
Всем опасностям вопреки.
Спали грузчики, машинисты,
Составители поездов,
И философы и артисты,
Постаревшие с тех годов, —
С тех давно отгоревших в спорах,
Отоснившихся навсегда...
Здесь в курганы ушли да в горы
Молодые мои года.

А курганы, не просыпаясь,
Черно дыбились в этот час.
И вода, над мостом вздымаясь,
Шла на пригород, вся клубясь.

Избы рушила. И оратай
Задыхался по горло в воде.
И набатно гудел элеватор
О неожиданной своей беде.
Мост проплыл, как ковчег библейский.
Самосвал уходил на дно.
Но уже вертолет армейский
Над избой повис, как в кино.
Провозвестником вод гудящих
Мчал автобус, скликая люд.

Вижу я парней настоящих,
Что у наших мостов встают.
Рядовые, дети пехоты,
Сколько пало вас не в бою?
Доставляют вас вертолеты
И в судьбу и в беду мою.

И в солдатских руках колыбельно
Спит спасенный оратая сын...
Да никто не заметил метельных
У солдата первых седин.

Город Мужества и Блокады
Городам России родня:
Прибывают из Ленинграда
Эшелоны в начале дня.
Там ровесники, там высотники,
Новой улицы там тепло.
Принимают меня в работники,
Всем стихиям земли назло!
Присягаю городу нашему,
Зной и зрелость копя в крови,—
Нашей улице Чертыгашева,
Как нетленной нашей любви.

ОЛОНХО В САМОЛЕТЕ

Двигала Лена белые льды на излете,
Воздух взрывался от первых проснувшихся почек...
Так Олонхо¹ окрылялось в моем самолете
Белою ночью, якутскою белою ночью.
Мира вершина была, как родник, белоствольна,
Мир срединный качался в пыли неохватно,
Мрачно молчала в предчувствии дня преисподняя,
Только на камне светились железные пятна.
Красный песок засыпает глаза мне, хрустящий.
Сосны чешуйчатые, стройные, как в Подмосковье.
Зной африканский, мерзлую землю палящий,
Точно играет моею разбуженной кровью.
Замерло время, подвластное олонхосуту,—
Слушает небо сказание золотоуста.
Это Стремительный² — всадник, влетающий в утро,—
Обнял меня богатырски, до боли, до хруста.
Что, Боотур? Я к тебе обращаюсь не праздно.
Сына тебе я вручаю — мальчишку рязанской закваски.
Ты обучи его с тайгой разговаривать связно,
Быть с Боотуром в битве, на поле и в пляске.
В каменной книге слово нащупать такое,
Что, как из Волги, его напоит долголетием.
Пусть, как и ты, никогда он не знает покоя —
Самый Стремительный в этом стремительном свете...
Мой самолет подлетает к якутскому дому,
К доброму граду, к открытому сердцу якута.
Живи, Олонхо, в крови окрыляясь знакомо.
Медленно очи мерцают старого олонхосута.

¹ Олонхо — якутский эпос, олонхосут — создатель и исполнитель эпоса.

² Нюргун Боотур Стремительный — герой одноименного эпоса.

Виктор Боков

КОСТРОМСКАЯ СТОРОНУШКА

Речки Мэря и Сэндега, Пókша и Кúекша,
Костромские разливы, луга и леса.
Возле вас беззаботно кукушкам кукуется,
Мелким пташкам поется на все гóлоса.

Я бродил по тропинкам и стежкам Некрасова,
В Шóды ездил, на Мэзе-реке побывал,
Видел я и людей и природу прекрасную
И для песен слова в Костроме добывал.

Заглянул в Щелыкóво, на долину Ярýлину,
Постоял у недремлющего родника.
Не забыл, навестил и Прасковью Малинину
И спросил у нее: — Как надой молока?

Как доярки? — Да вот они, спрашивай сам уж! —
А доярки прижались стыдливо к дверям.
Я шутить: — Ненаглядные, скоро ли замуж?
— Скоро, скоро, но только не нам — дочерям!

Костромская сторонushка, заводи синие,
Полевые, речные, лесные края,
Лен цветущий, луга, комбинаты текстильные,
Вас нельзя не любить — вы Россия моя!

СЛОВА

Слова, как сыры,
Ноздреваты и пряны,
Да разве они виноваты,
Что пьяны?

Слова, как бахча,
Где медовые дыни,
Слова, как привянувший
Стебель полыни.

Слова, как укроп,
Как гвоздика с корицей.
Не каждому могут
Они покориться.

Не каждый из них
Будет вить,
Что захочет,
Не каждый брусок
Этот ножик наточит.

Слова — полукрик,
Полушепот полночный.
Слова, как дворец
И как дом крупноблочный.

Люблю их!
Они моя пища и пытка,
И нет мне целебней,
Прекрасней напитка.

* * *

Меня просило сегодня море:
— Не торопись, постой у мола,
Не уходи, родной, далёко,
Мне будет очень одиноко.

Послушался, присел на камни,
Колени обхватил руками.
Уж не ахти какое дело,—
Но море тихо, тихо пело!

Исаак Борисов

* * *

С восхода и до ночи поздней
Я с явью не бываю врозь,
Она тревожна, как предгрозьё,
Сурова и ясна насквозь.

Живу, в ее упрямство вросши.
На мне — всей жизни тягота.
Стихи же сложит чуть попозже —
Кто? Не иначе, как мечта.

Перевод с еврейского М. Петровых

* * *

Нет на маститость и намека,
Не столь перо еще остро...
Есть жажда все успеть до срока
И оплатить добром добро.

А за плечами даль такая!
Решился бы взглянуть хоть раз,—
Тропинка среди хлебов, петляя,
Бежит и пропадает с глаз.

Перевод А. Кафанова

Анатолий Брагин

ЯБЛОКО

Этот плод золотокожий,
И на что же он похожий?
Ни на солнце,
Ни на шар,
Ни на щеку малыша,
Ни на что, ни на кого,—
На себя же самого
И соседа своего.

Не погиб он при цветеньи,
Хоть иные облетели,
Не родился пустоцветом,
Не вошел в состав букета,
Залипухой не пропал
И от ветра не упал.

Уберегся и упасся
Он от яблочного Спаса,
От мороза и от града
И от всяческого гада —
От червя-яблокоеда
И от зависти соседа...
А теперь настал черед —
И рука его берет!

Владимир Бурич

ОДА БИБЛИОГРАФАМ

Библиографы,
вы сейсмические станции,
регистрирующие затухание старых поэтических вулканов
и пробуждение новых,
свидетельствующих о продолжающемся процессе
книгообразования.

Товарищ астроном,
вы считаете —
это вулкан на Луне заработал?
Ошибаетесь,
вам любой библиограф скажет —
это вышла в свет
и стала светом
Антология современной лунной поэзии.

Давид Бромберг

* * *

У Ильича для всех бедняцких бед
открыты были двери в кабинет,—
все побывали у него в Кремле:
мужик с заботой вечной о земле,
матрос с «Авроры»,
с фронта комиссар,
пастух-казах, путеец-кочегар.
Страна ему свою беду несла,—
для всех открытой дверь его была.
И каждый знал:
и поздно и чуть свет —
открыты двери в этот кабинет.
И только ложь с неправдой никогда
не смели, не могли войти сюда,—
для них была закрыта дверь навек,
та дверь, что он открыл
в грядущий век!

* * *

Яркая звезда во тьме густой,
подари
хоть капельку мне света...
Разучился я мечтать про это,
если не могу я стать звездой,
вот такой, как ты перед рассветом,

я хотел бы стать твоим осколком,
пролетевшим косо над проселком...

МИНУТА МОЛЧАНИЯ

Я прихожу ненадолго,
всего на мгновенье-другое,
чтобы кровь заморозить,
чтобы вызвать отчаянье.
Я — минута молчания,
минута молчания.

Мое время как миг,
и в мгновенья короткие эти
сотни миль прохожу
от сердца до сердца в печали я.
Только сердце свое
не пройдешь, не минуешь вовеки

в минуту молчания,
минуту молчания,
минуту молчания...

Прихожу вам напомнить
об отцах, матерях и о сестрах,
обо всех, кого память
приводит порою в отчаянье.
Чтобы в сердце
боль не засела осколками острыми —
я, минута молчания,
минута молчания,
минута молчания...

Перевод с еврейского Владимира Цыбина

Нина Бялосинская

* * *

Маме

И была мне при жизни земля пухом.
Это к ней припадала я под пулей.
И на ней, на голой, с голоду пухла.
И она домашним хлебом пахла.

Только с трех сторон у меня было небо.
А с четвертой стороны —
стена пламени.
Никакого дома у меня не было.
Из земли
и в земле
мы дома ставили.
Это дом был жилой,
а не могила.
В нем коптилка светила,
печурка дымила.
Согревала земля меня,
укрывала.
Не давала в обиду меня,
не давала.

И теперь,
лишь ступлю босою ногой,
прикасаюсь к земле
родной,
нагой.

Зачерпну руками,
рыхлую,
 свежую,
подержу на ладонях,
в ладонях взвешу я.
И обратно верну бурые горсти —
полю,
 дороге,
 горé,
 погосту.

Ты прости, Земля,
что с тобой расстаюсь.
Право есть у тебя
не на грусть —
на груз.

Я не просто так расстаюсь —
отрываюсь.

Ты прости, Земля, если я не вернусь.
Если я никогда в землю не лягу.
Ты пойми неземную мою дорогу.
Я ведь здесь, на земле,
на ноги встала.
На земле я крылья свои распахнула.
Если я и загину,
не стану прахом, —
ты была мне при жизни, Земля, пухом.

НАД БАЙКАЛОМ

Вот так и океан —
однажды начинается.
Вот так и океан —
где-нибудь кончается.

А про него небрежно
говорят — безбрежный.
Говорят бездумно
про него — бездонный.

Просто он сильный.
И ему трудно.

* * *

Домодедово.

Деды — домом
жили-были, вели маету.
Наше дело — по аэродромам.
Кто на «Иле»,
а кто на «ТУ».

Вот и я, на милость разлуки
полагаясь, живу добрей.
Не творю никакой разрухи,
Никаких не жгу кораблей.
Все тяну от катета катет
под прямым углом все равно.
И пузатый автобус катит,
комфортабельный,
как в кино.
Прямо к трапу, по назначению.
Хрипый туш моторы гремят.
Отречение,
как обручение,—
утомительнейший обряд.
Погодите.

Не нарастайте,
эти громы
и звон в ушах.
Ведь шасси еще на асфальте.
Не свершился последний шаг.
Но уже летит из-под ног
город наш,
изменяя облик.
Уменьшается.
Из него
образуется
белый облак.
Выше.
Выше.
Уже не каюсь.
От лесов,
от снегов,
от болот —
ото всей земли
отвлекаюсь.
Вовлекаюсь
в слепой
полет.

Константин Ваншенкин

ВЕСЕННИЙ ЛЕД

Был лед весенний ноздреват,
И ледоход, копясь помалу,
Не то чтоб только назревал,
Но был вполне готов к началу.

И конь, разбрасывая грязь,
На лед спускался оробело,
Сам в сани только не садясь,
Осаживая то и дело.

А над обрывом костерок,
Просторный запах вешней влаги,
И хоть бы кто предостерег:
«Куда ж вы прете, бедолаги!»

Спроси, откуда этот риск —
Пройти, где выше, круче, уже,
Чтоб ошалелый бабий визг
Повис, закладывая уши!

Шуршанье льда, и синева,
И солнца ход по небосводу,
И задранная голова
Коня, идущего под воду.

Бегут с баграми мужики,
Весьма резонно полагая,
Что время лезть во мрак реки,
В беду попавшим помогая.

Между оглобель конь плывет,
Кося лиловым мокрым глазом,
И тянет сани, словно плот,
Но и его все тянут разом.

И конь выходит из воды,
Отряхиваясь по-собачьи.
И если б не было беды,
То этой не было б удачи.

* * *

В заботах нового труда,
Когда и вправду жизни мало,
Сидел один,— мне так всегда
Уединенья не хватало.

Тянуло мокрою корой,
Березы брезжила макушка,
Кончался день, и под горой
Усердно лаяла кукушка.

Сквозило сыростью с реки.
...За долгий месяц тот весенний
Не написал я ни строки,
Но принял несколько решений.

* * *

Я очнулся рано поутру,
На шинели, в первых числах мая,
И лежал, еще не понимая,
Умер я иль долго не умру.

Мне казалось, я лежу в шатре,
В ярмарочном старом балагане,
Будто бы в огромном барабане,
Посредине поля, на бугре.

Небо в виде цельного куска
Голубого выцветшего тона
Было все натянуто до стона
И лишь с краю морщило слегка.

* * *

Прошел по старым книжкам записным,
Как по полкам заволжским запасным
Проходит Ставка после наступленья —
Восполнить предусмотренный урон.
(Старшин минувших вспомнил наставленья,
Казарму, плац и степь со всех сторон.)

Четверостишья, строчки и слова —
В блокнотах распыленная пехота,—
Вас надо подтянуть еще сперва,
Но занята другими голова,
И вами заниматься неохота.

ПРИМЕТЫ

А приметы в России гуманны,
Видят доброе даже в худом.
Простодушные эти обманы,
Берегущие нас и наш дом.

Потому-то известно повсюду:
Дождь в дорогу — удача вас ждет,
К счастью — если разбили посуду,
Проигрались — в любви повезет.

* * *

Уже знакомы с Гегелем и Кантом,
И сами не последние умы,
Но шаровары те с армейским кантом
В студенчестве еще таскали мы.

Еще нам зрелость виделась едва ли,
От наших дней пока что далека,
И в поездах, когда нам предлагали,
Мы с радостью играли в дурака.

Лариса Васильева

* * *

Пытаясь суть размолвки оправдать,
опять твержу о слабости и силе,
а лето начинает увядать,
и слабые дожди заморосили.

А может быть, никто не виноват,
и правых нет. Одни деревья правы,
глядят без опасений на закат,
легко роняя груз увядшей славы,—

спасибо им. Они вернули стыд
моим словам, таким неосторожным,
что каждое едва не стало ложным,
прожечь надеясь камень и гранит.

* * *

Была четвертая разлука
спокойней первой оттого,
что прошлая шальная мука
не выражала ничего,

нечеткой искренности кроме.
А ныне тайна глубоко,
и я одна осталась в доме,
и ты надолго далеко.

Мой дом стоит перед ветрами,
четыре раствора окна,
в узорчатой террасной раме
поляна синяя видна,

там колокольчики степные,
сиреневые клевера,
там ели, как сторожевые,
стоят, раскинув веера,

и по ночам, пересекая
поляну, тень твоя идет,
и звук: — Откуда ты такая? —
мне все покоя не дает.

Петр Вегин

РИСУНОК ЛЕНИНА

[Из итальянских стихов]

...А срисовывать не с кого.
Есть бумага, есть воображение,
есть души и бумаги святое сближение.
22 карандашных рисунка
по стенам расклеено,—
не хватает штриха или тени
до Ленина.

Флорентинец,
ты шепчешь:
— Я хотел бы его рисовать
в Лонжюмо или Смольном,
а бессмертье срисовывать
с мертвого
ни его,
ни меня недостойно...

А за окнами —
время, охрипшее от полемики,
над Флоренцией
Леты беспечной течение.
Среди сотен натурщиков для Боттичелли
ты по улицам бродишь,
оглядывая современников.

Так устроено время —
и не обессудьте,—
что в чертах приходящего поколения
проступает лицо предыдущего гения,
как в расплывчатом
карандашном рисунке.

Значит, надо искать
в каждом встречном
на перекрестке
штрих, которого так не хватает
в твоём карандашном наброске,
и с людьми,
и с бумагой
искать напряженно сближения,
понимая явление времени —
как явление Ленина...

ПЕРЕПЛЫВИ ВОЛГУ

Так дышат олени, уйдя от погони, вдыхая свободу,
и лизжут разбитое бегом копыто...

Будь проклята трижды, Любимая, и позабыта!
Как дышат олени, уйдя от погони,— вдыхаю свободу.

Все солью, все крупною солью судьба усыпает дорогу.
Соленые звезды в зеленую падают Волгу.
Так солоно все — хоть молчи, хоть кричи, хоть рыдай,
хоть пей самогонку и рукавом заедай!

Так что же мне делать с моей Лорелеей в крови —
вскрыть вены и подпись поставить влюбленную кровью?
При слове «что делать?» я старое вспомнил присловье:
когда занеможется — Волгу переплыви.

Так на меня, Волга, своей синевы удостой,
промой меня, как промывают песок золотой,
и если ко мне применимо достоинство — жить,
да будет дано мне осилить, не кануть, доплыть!

А с ней, Лорелеей, ничем ее не перемочь,
и пенье ее — это, может, одно, что нетленно
в крови моей пленной и в этой соленой вселенной.
Да станет святым испытанием мне эта ночь!

Так, значит, с разбегу, и вниз головою, и вплавь
через этот расплавленный синего времени сплав,
навстречу судьбе, Лорелее, навстречу рассвету
переплыви Волгу,
переплыви Лету...

ЛОРЕЛЕЯ

Над Рейном?
Оставьте — легенда, вода...
Реки здесь ни слуха, ни следа.
Но если уж хочется очень, то — да,
и имя реки этой — Лета!

...И вот я в летейские воды вхожу,
и вот я уже холодею,
я голову, может, за прихоть сложу —
увидеть в лицо Лорелею.

Как справиться мне с этой мертвой водой?
Захлебываюсь, задыхаюсь,
довлеет и давит над головой
беспечного неба стеклярус.

Я силы терял, я предчувствовал дно,
затею оплакивал эту,
не зная, что мне кем-то свыше дано
осилить надменную Лету.

Я видел — вполборота к реке
сидела она, созерцающая

свободное облако вдалеке,
и царственно плечи мерцали!

Я выплыл, не чувствуя собственных слез,
я шепотом имя ее произнес,
и в белую ночь ее вольных волос
вошли мои пальцы, как кони в овес!

Так что ж ты свой песенный невод в волну
не сыплешь? — и было ответом:
— Я эту устроила тишину,
чтоб ты переплыл через Лету...

И, первый — последний, поцеловал
я певчие губы,

и, бледный,
я пальцы и плечи ее воровал
у лета, у времени, Леты!

...Так было когда-то на этой реке...

Я жить, говорят, не умею,
но кто начертает на мокром песке —
я знаю в лицо Лорелею!

Александр Величанский

* * *

Август — вереск-невидимка,
мрака будущего дымка,
сосны красного загара,
да согбенные сады,
да заборов грязных тара
(август, возглас, смех, гитара),—
не бывает август старым,
не бывает молодым.

И небес молочных кринка
переполнена, и желтое тепло
облаками густо отекло
на закат из красного суглинка...
Все мерещится мне вереск-невидимка,
августа синеющая дымка,
сквозь осенних окон половинки,
сквозь дождей непроходимый бурелом...

* * *

Есть тишь царскосельского чуда,
спокойствия царская тишь:
вершины исполнены гуда,
и листья летят ниоткуда,
плывут по поверхности пруда,
где плавают отблески лишь.

Листвы годовалая гряда,
и весь этот мир под листвой —
забвением скрытое чудо:
листы на поверхности пруда,
вершины старинного гуда —
всей нашей души естество.

Приходит оно ниоткуда,
от века навеки дано,
и отблески листьев повсюду —
и в небе и в облике пруда...
Спокойствие свойственно чуду
и свойственно очень давно.

* * *

И вдруг она покинула меня,
на миг один с листвой смешавшись павшей...
Был ветер, волосы ее едва трепавший,
и был октябрь на исходе дня.

Она мелькнула в обнаженной чаще,
где водоросли дерев прозрачны и стройны,
и, ослепленный близостью щемящей,
я не узнал ее со стороны.

Евгений Винокуров

СВЕТИЛО

Молодость, точно светило, почти
Там, на черте: «Я вас скоро покину!..»
Как человек, согревающий спину,
Я говорю ему:

«Не уходи!»

Я говорю ему: «Повремени!
Я повернуться хочу еще боком...

Ну, а потом заходи себе с богом,
Я ведь согласен остаться в тени».
Я говорю:

«Хоть минуту одну,
Только б минуту еще, в самом деле!..»
Руки свои я к тебе протяну.
Пальцы мои уже похолодели.

* * *

Что молодость — экое дело?
Прошла, хоть мила не мила!
Ты черное платье надела,
Ты белое платье сняла.

А мне-то вот как разобраться
В себе, ты сама посуди:
Я только лишь стал оперяться,—
А молодость позади?

Так что же, прошло то, что снилось?
И вспомнить уже недосуг?
Осталась лишь детская хилость
Уныло опущенных рук.

Так что же, ушло то, что пелось?
Осталась какая-то муть
Да детская неумелость
Пуговицу застегнуть.

Так что же, все то, что хотели,
Вот так-то и не сбылось?
Ломота какая-то в теле
Да боль под лопаткой насквозь.

Так что же, не значит ли баста?
Тревожить по пустякам?
И, значит, осталось: лекарство,
Сощурившись, капать в стакан.

И все ж я о чем-то гадаю.
Не успокоюсь на том,
Я молодость лихо глотаю
Соленым от сухости ртом.

Так что ж: я играю без правил,
И, значит, назад осади!
Я крылья еще не расправил,—
А молодость позади.

ПОСЛЕ ТЕАТРА

Мы на барьер, обитый плюшем,
Опрямся, чтобы заглянуть
На сцену. И уже по лужам
Шагаем в дождевую муть.
Еще огонь кордебалета...
А каждый уж во тьме намок,
И где-то там от пистолета
В юпитере плывет дымок.
Да, нам обещано не густо...
И представляется уму:
Жизнь сможет дать иль свет
искусства,
Иль эту дождевую тьму.

Андрей Вознесенский

МОЛИТВА

Когда я придаю бумаге
черты твоей поспешной красоты,
я думаю не о рифмовке —
с ума бы не сойти!

Когда ты в шапочке бассейной
ко мне припустишь из воды,
молю не о души спасеньи —
с ума бы не сйти!

А за оградой монастырской
как спирт ударят нашатырный
послегрозовые сады —
с ума бы не сойти!

Когда отчетливо и грубо
стрекозы посреди полей
стоят, как черные шурупы
стеклянных, замерших дверей,

такое растворится лето,
что только вымолвишь: «Прости,
за что мне это, человеку?!
С ума бы не сойти!»

Куда-то душу уносили —
забыли принести.
«Природа, — говорю, — Россия,
назад не отпусти!»

ЛЕГЕНДА ИРОНИЧЕСКАЯ

Джугльбе

Все как надо — звездная давка.
Чабаны у костра в кругу.
Годовалая волкодавка
разрешается на снегу.

Пахнет псиной и Новым Заветом.
Как томилась она меж нас.
Ее брюхо колслось светом,
как серебряный дикобраз.

Чабаны на кону метали —
короли, короли, короли.
Из икон как из будок лаяли —
кобели, кобели, кобели!

«Ав, ав, мадонна,
аллилуйя,
да осенят щенята твои...»

А она все ложилась чаще
на репы и сухой помет
и обнюхивала сияющий
чужой живот.

Шли бараны черные следом.
Лишь серебряный все понимал.
Передачу велосипеда
его контур напоминал.

Кто-то ехал в толпе овечьей,
передачу его крутя,
думал: «Не мифический сын
человечий,
будет пусть собачье дитя».

Он сопел, белокурый кутяша,
рядом с серенькими тремя.
Стыл над лобиком нимб крутящийся,
словно малая шестерня.

И от малой той шестеренки
начинался удесятеренно
сверхвселенский переполох,
сумасшествие звезд и блох.

Циферблаты, короны, храмы,
коронации и века,
ионические бараны,
иронические снега.

По снегам, отвечая чаяньям,
отмечаясь в шоферских чайных,
ирод Сидоров шел с мешком,
с извиняющимся смешком.

ПУЗЫРИ ЗЕМЛИ

На асфальт растаявшего пригорода
бросивши пальто и буквари,
девочка в хрустальном шаре
прыгалок
тихо
отделилась от земли.

Я прошу шершавый шар планеты:
вас два шара! Не разрушь, позырь
детского суверенитета
кратко-хрупкий радужный пузырь!

ОСЕНЬ

На спинку божия коровка
легла коричневым брюшком,
как чашка красная в горошек
налита стынущим чайком.

Предсмертно или понарошке?

Но к небу, точно пар от чая,
душа ее бежит отчаянно.

Игорь Волгин

СОФЬЯ ПЕРОВСКАЯ

И просвещение уж дает плоды!
Но, приводя правительство в смущенье,
выходят боком рьяные труды
на столь достойной ниве просвещения.

И — глядь! — до попиранья основ
отдельные доходят элементы:
курсистки,
литераторы,
студенты —
всеобщее растление умов!

...О господи, откуда вы взялись
в кухмистерских какой-нибудь Казани,
мальчишки с декабристскими глазами,
с таким запретным выраженьем лиц!
И из какой явившиеся тьмы —
идеалисты вы иль нигилисты —
кружковцы,
нелегальщики,
бомбисты,
крамольные и резкие умы.

Страна проходит сквозь второй этап,
и, сообразно этому этапу,
Иркутским трактом движется этап:
интеллигентов гонят по этапу.
И дабы государственный террор
пресек собою индивидуальный,
им смертной казни просит прокурор,
как выход, в высшей мере идеальный!

Россия, что еще там впереди?
Не жертвенного нимба излученье.
Но с той поры живет в твоей груди
неслыханное самоотречение.
Пусть ты пошла совсем иным путем,
что суждено тебе — не избежала.
Но что-то в самом главном, в основном
все наши поколения сближало.

Я помню фото: сорок первый год!
В Петрищеве у школьницы московской,
что через миг взойдет на эшафот,
такие же глаза, как у Перовской.

ОТЕЛЬ «КЛАРА ЛАРСОН»

Грустно мне, что в Стокгольме, в кварталах старинных,
Среди чинных аллей и домов безымянных,
Нету больше отеля с названьем «Регина»,
Где гостил, как известно, Владимир Ульянов.

Дом снесен.

Значит, поиски были напрасны...
Снова улицы, скованность дворикив тесных,
Взлеты шпилей.

А вот и отель «Клара Ларсон».
Говорят, что здесь тоже когда-то негласно
Жил Ульянов, а правда ли жил, не известно.

Но представилось — здесь он в горячем стремленье,
Торопясь схорониться от глаз посторонних,
С кипой свежих газет прошагал по ступеням
И закрылся, войдя в свой гостиничный номер.

И взволнованно в номере тихом отеля,
Что обставлен был пышно хозяйкой любезной,
Те газеты под ленинским взором запели
Каждым словом и каждой строкой «Марсельезу».

И взметнулись вдруг, полные дерзкой отваги,
С тех газетных страниц, озаренные светом,
Флаги пятого года — багряные флаги!
Загремели России шаги по паркету!

В СМОЛЬНОМ

Гигантский коридор.

Шелка императриц
Шуршали здесь, лоснясь, как лесть придворных.
Шеренгой пары двигались девиц,
Ходивших чинно в званьи «благородных».

А в этом зале был, возможно, бал —
В перчатках белых, пышно-церемонный,—
Когда рабочий питерский попал,
Булыжником нацелясь, вдруг попал
В орла двуглавого и сшиб с него корону.

А может, здесь монарха восславлял
Священник, метивший в архиереи,

Когда казачьих пулеметов шквал,
Убив слепую веру наповал,
Смел заодно огнем ребят с деревьев.

Когда, прокляв Гапона и царя,
Вдруг вспыхнув революцией, с разбегу
Январский день — к зарнице Октября
Шагнул по окровавленному снегу.

Как много было горя...

И тогда
Ильич спешил, приехав из Женевы,
Преображенским кладбищем — туда,
К церквушке древней, черной, как беда,
Привыкшей к погребеньям ежедневным,
Привыкшей к виду сумрачных бугров.
Но здесь был крест — один на всех погибших...
Ильич стоял, печален и суров,
Чуть сгорбившись, у тополей поникших.

...И в доме Паниной, войдя в гудящий зал,
Надышанный, страстями разогретый,
Ильич в него как молнии бросал:
О новой жизни, о Стране Советов.

И ждал кумач знаменного древка.
Но глаз опасности следил из каждой щели,
Следил из каждой скважины замка,
И вновь друзья решили, что пока
Ильич обязан скрыться от ищеек.

Когда он шел по льдинам сквозь ветра,
Кто мог подумать, что придет пора
Таких свершений, что вон тот громадный
Конь, тот, что Петербургом мчал Петра,
Помчит Петра великим Ленинградом.

.
Я представляю, как в апрельской мгле
Чужой шел поезд по чужой земле.
Отсчитывала черная тоска
Чернеющие, медленные версты.
И вдруг приветный свет издалека
Мигнул глазком.

Неужто Белоостров?!

Ильич к стеклу вагонному прирос:
Как мало в нем, в окне, родного неба,
Родной земли так мало и берез,
А он ведь столько лет в России не был!

.
Но прежде, чем вести на правый бой,
На тот решительный, им зорко предрешенный,
Ильич прошел, прошел он, как сквозь строй,
Оболган вопиющей клеветой,
Идя сюда — в штаб нашей правды, в Смольный.

Он твердо шел на свет сквозь мрак угроз
По мостовым, по улочкам окольным
И в сердце нес, в горящем сердце нес
Все, чем дышал, чем жил все годы,
в Смольный,

И люд заводов, пашен, крейсеров
Здесь звал он в бой.
Величьем озаренный,
Весь штаб гудел, гремел, и от костров
Был Смольный в ярких отсветах багров,
Как будто бы не пламя в той ночи,
А трепетали жарко кумачи,
Горя желаньем вырасти в знамена.

...Ему стоять веками на посту —
Впередсмотрящему всего земного шара,
Следя, как набирает высоту
Советов красноезвездная держава.

И ощущать все тот же непокой,
Что на земле, от бед, от войн усталой,
Еще не весь воспрял наш род людской
Под вечный гимн Интернационала.

Александр Гатов

ИЗ ИСКРЫ

В тюремный век, в его потемках,
Под русским небом рождена,
Неугасимая,
в потомках
Зардела искорка одна.

Прошли мы с ней сквозь брань и пули,
И пламя вольности зажглось.
И к коммунизму повернули
Мы ржавую земную ось.

То пламень ленинского дела.
И революции рука
Несет его во все пределы,
Во все грядущие века.

Николай Глазков

ШУШЬ

Много речек, подобных Шуши,
Много речек, подобных Ое¹.
Промерзают они от стужи,
Высыхают они от зноя.

Иногда забушуют некстати,
Но обычно тихого нрава.
Часто их не заметишь на карте:
По длине-ширине им слава.

Много речек, подобных Шуши,
Только Шушь среди просторов
раздольных
Протекает, о славе не тужит:
Про нее знает каждый школьник.

Омывает она горделиво
Берег левый и берег правый,
И смотрю на нее как на диво:
С ней Ильич поделился славой!

¹ О я — речка, недалеко от Шуши, впадающая в Енисей.

ЗНАЛ ИЛЬИЧ

Ленин не был никогда на Лене,
Никогда не ездил на Витим,
Но в честь величайшего течения
Взял себе достойный псевдоним.
Знал Ильич — не только что в России,
А объездить если целый свет,
Не найти нигде реки красивей,
Знал он, что волшебней Лены нет!..
Где еще, в каком далеком крае,
Живописней ленских берега?
Где еще бескрайняя такая
Сохранилась на земле тайга?
Знал Ильич, что на великой Лене
Зла и продолжительна зима,
Но весна шагает в наступленье,
Словно революция сама!..
День растет стремительно, прекрасно,
Исчезает ночь, как серый дым...
В честь великой Лены не напрасно
Взял себе Ульянов псевдоним.

Татьяна Глушкова

* * *

А я пройду теперь совсем спокойно
и не узнаю дома твоего...
Ведь у меня волшебная забота —
не опоздать на давнее свиданье,
по телефону молча позвонить.
Созвать гостей и при свечах, как в детстве,
пить чай, глядеть растрепанную книжку
и разгрызть цветные леденцы.
Покуда там, в углу, на темной елке,
картонный осторожный человечек
качается и, чтоб не уколоться,
смешно поводит крохотной рукой,—
я на окно стакан воды поставлю,
и мне наутро чистую криницу
скует мороз, румяными щеками
прильнет к стеклу благословенный день.
Не время — помнить, время — разлучаться
без горести... И я благодарю
январь, и эту нежную погоду,
охрипших птиц, растаявшую свечку,
и скрипицу, пропевшую в углу —
как будто просто опадает елка,
поскрипывают где-то половицы
и воробей отряхивает снег...

* * *

...Но ту босую, бедную тетрадь,
где на задворках ковыляет ветер
в густой крапиве, где дремотно светит
косое солнце в краешке стекла,
где в никуда тропинка пролегла,
минуя куст заржавленной сирени,
где на заборе маленькие тени
ребенка и седого мотылька
(в капустных жилках крылья и рука),
а день так долог, голоден и светел,
и вечно жить велит, и клонит спать,—
я не к добру решила вспоминать
о том сухом, послевоенном лете.

* * *

...А время, дрогнув, покатилося вспять
и, не умея с ветром совладать,
упало в снег, исчерканный крестами
сорочьих лапок, дав мне испытать
Орловской мызы снег и благодать,
серебряного Волхова блистанье.

И одиноко леденеет ель,
и мелкий снег, и сизая метель,
мороз так стар и сед, но духом крепок,
как будто белки тысячи орехов
грызут, ломают, мечутся в ветвях,
скользят на лыжах, тычутся впотьмах
в мое лицо, разнеженное мехом,
и снова хлопья сумрачного снега...

Как поздно!.. Что-то мне не разобрать:
зачем я здесь? Окружена метелью,
кружу под беличьей, сорочьей елью,
ищу свою оглошную деревню,

да только вот тропы не угадать...
Цветет картофель, как цветут деревья,
а мне бы яблоч земляных набрать!..

Но ходят люди — видимо без дела,
в одежде цвета хвои порыжелой
и непонятной речью говорят...
Мне не велят ходить туда. Сулят
негаданное... Щелкает лучина,
и пахнет печка пересохшей глиной,
и что-то мама плачет без причины,
и кажется, война до половины
уж пройдена, и снег уже до пят.

И тянет дымом или, может, хлебом,
а над рекою, под мохнатым небом,
летают санки... Много ли труда
взлететь, поддавшись облачному бегу,
но сколько лет мне нынче, сколько снегу
навеялось и накипело льда...

* * *

Не трону — ни веткой, ни вечным,
ни птичьим летучим пером,
ни темной, прерывистой речью —
моим серебром, серебром,
ни смехом, ни духом, ни взором,
живым сновиденьем в ночи,
и менее прочего — вздором —
укором у края свечи.

Увижу: стекло запотело,
и волосы так причешу,
как будто по зряшному делу,
с пустою заботой спешу.

Смешаюсь с толпою. С собою —
и хоть бы с тобой! — разминусь,—
я даже не двину рукою,
я в этом потом разберусь.

И если по талой, заклятой,
по черной, по звездному льду,
по улице с ивой горбатой,
где каждый скворец — на счету,
в лиловом и тяжком закате
не чудом, так бредом пройду,
не шагом, так лётком крылатым,—
не бойся! У всех на виду
виновнее всех виноватых
я первой глаза отведу.

Александр Говоров

СЕЯТЕЛЬ

Сей,
Сеятель,
Сей!
Искрится на солнышко просо,
И сыплются зернышки косо
По пашне пахучей твоей.
Сей,
Сеятель,
Сей!
И трогает сеялку трактор.
Он, зная хозяйский характер,
Попыхивает веселей.
А воздух, как квас аржаной,
Пахуч, ноздревато-шипучий,
Дрожит над прогретой землей
Хмельною прозрачною тучей.
Зерна́ для земли не жалей.

Получишь за щедрость сторицей —
И проса, и ржи, и пшеницы...
Сей,
Сеятель,
Сей!
Отсеется скоро весна,
Хмелея от хлебного квасу.
Поэтому вечно она
Сердечна
К крестьянскому классу.
За сеялкой стаи грачей,
За сеятелем суетятся
И словно воскликнуть
Стремятся:
— Сей,
Сеятель,
Сей!..

* * *

Над зарей поднялся аист:
— Август!
— Август!
— Слышишь? Август!
Ты проснись, услышь, пожалуйста,
Эти радостные клики:
— Первый день большого августа!
— Спелый день пришел великий!
— В поле!
— В поле!
— В поле, сеятель!
Уродилось столько хлеба.
Из гнезда со мною вылетел
Аистенок малый в небо.
Ты просила, ты все вызнала,
Белоярая пшеница...
— К сроку!
— К сроку!
— К сроку вызрела!
В чистом поле колосится.
Что ж ты спишь? Проснись, пожалуйста.
Ты услышишь эти клики:
— Первый день большого августа!
— Спелый день такой великий!..

Михаил Годенко

МОЛДАВСКАЯ ЛЕГЕНДА

1

Потонуло в тумане то лето,
Когда родилась она
В низенькой рыжей бурдейке¹.
Виноград наливался в ту пору
Такой —
Даже лозы ломались.
И людям хотелось верить,
Что счастье придет
С этой девочкой
К ним.

— Вيني, Вини!
Красавицей будешь, —
Говорила ей мать. —
Станешь невестой,
И лучший жених
Увезет тебя в дом свой богатый.

Вини шестнадцатый год.
Трудно найти ей в Молдавии равную.
Косы ее
Темней ночей придунайских,
Очи ее,
Словно озера, светлы.
Чинные сваты
Обивали порог бурдейки,
Дорогие подарки несли
От достойнейших женихов.
Но видела Вини
Горе да злыдни людские,
Видела Вини
Поборы да плети бояр.
Весельем свадьбы
Нужду со двора не прогонишь,
От свадебной песни
Не станет счастливей народ...

2

Вини часто смотрела
Туда, где заря загоралась,
Туда, где страна, о которой
Говорят только шепотом люди,
Боясь королевского гнева,
Кары боярской страшась.

Тосковала,
Мечтой уносила дивчина

¹ Б у р д е й к а — хатка-землянка.

В заднеэстровскую землю...
Собрались молдаване,
Снарядили ее
В путь-дорогу за счастьем,
Как надежду свою,
Как свое дорогое дитя.

3

Как-то в утренний час,
Когда длинные тени
Придорожных акаций
По росистой траве расстилались
И туманы редели в долинах
И прятались в тихих осоках,
На Восточной горе
Люди увидели путников двух
незнакомых.

Смотрели на них старики
Из-под шляп, порыжевших от зноя,
Смотрели старухи,
Предчувствуя добрые вести.
Платки теребил ветерок,
Трогал юбки сукна домотканого
И рубахи льняные мужицкие
Прижимал к мускулистым плечам.

Вот уже различимыми стали:
И девушка в платье простом
Василькового цвета,
И юноша рослый.
На нем сапоги, галифе, гимнастерка,
Широким ремнем перехваченная,
Пилотка на нем
Со звездой рубиновой.

— Вيني, Вини!.. —
Узнали, заплакали многие, —
Вот какую тебя
Нам встречать довелось!
Не пропала,
Не канула без вести
Наша надежда,
Возмужавшей, окрепшей
Вернулась к народу опять.

Мужчины степенные
И парни нетерпеливые
Обступали пришельца могучего,

Смотрели в упор, испытующе
В глаза голубые его.
Много в них прямоты,
Много света и правды увидели,—
Облегченно вздохнули,
Окинули взглядом счастливую Вину,
Решили:
— Достойнее нет жениха!

И он, благодарный,
Снял пилотку свою,
До земли поклонился по-русски,
Спасибо сказал.
И люди ему поклонились
И тоже сказали:
— Спасибо!

А затем —
И вином угощали,
И брынзой, и медом.

И такие тут песни,
Такие тут пляски пошли!
Будто все то веселье,
Что копилось годами, веками,
Прорвалось, как поток,
Понеслось,
Грохоча и звеня.

По дорогам на запад
Скрипели каруцы боярские,
Да со злобой встречали
Примари¹
Нежеланных гостей.
Но когда раскрывается
Сила большая народная —
Никаким примарям и боярам
Этой силы уже не сдержать!

¹ Примарь — сельский староста.

Михаил Горбунов

УСТРЕМЛЕННОСТЬ

О, его устремленность бессмертная.
В нем стремительно все, до конца,—
мысль, входящая в толпы несметные,
даже линии лба и лица.

Далеко
от Сибири до Питера.
Вьюга чешет бока о порог.
Но летит, будто отлитый в литеры,
острый
росчерк
пророческих
строк.

Эти молнии слова, которые
поднимали рабочих в штыки.
И в восходе грядущей истории
тот решительный выброс руки.
Сквозь века, и года, и мгновения —
пальцы в лацканы,
полы вразлет,—
с неизбывной энергией гения
он идет, он идет,
Он идет!

ПЕРЕД РАССВЕТОМ

Все в зачине.
Синей тьмью заткано.
Все сейчас... Иль минуло давно?
Вербушкой апрельской, талым запахом
дышит в предрассветное окно.

Есть минуты краткие, в которые
город спит. Вповалку.
И тогда
в первых звуках — отзвуки истории
будто бы летят через года.

Что-то по булыжнику прощелкало.
И опять молчание квартир.
Ты услышал?
К домику Нащокина
запоздалый Пушкин подкатил.

Или пристав шашкой чиркнул, вымеря
три сажени к темному углу.
Может быть, с рылеевского кивера
это капли сдунуло во мглу.

Патрули, затянутые в кожанки.
Красный бант у лезвия штыка...
Это распласталась
вдоль Остоженки
пулемета ровная строка.
Молодых, веселых, неприкаянных,
в дробном звоне сабель и подков,
как тепло
старинных зданий каменных,
голоса исходят из веков.

И слова, отнюдь не запасенные,
чтобы им пришел
свой толк и срок,
и слова, еще не разнесенные
по квадратам мраморных досок...

Ни греха особого, ни таинства.
Просто ты уверился в одном:
это времена переплетаются,
а не ветви вербы — за окном.

Николай Горохов

КОМИССАРЫ

Они передо мной стоят в ночах:
Их кожаные куртки мешковаты,
Пожатия скупы, мужиковаты,
И скованность мальчишечья в плечах.
О комиссары!

Мальчики худые,
Слепяща ваша преданность боям.
Приходите и пахнете вы дымом,
В котором крепла Родина моя.
Что я могу, явившийся так поздно?..
Какую правду подарю земле?..
Уходят... И торжественна их поступь,
И так слышна на утренней заре.

Но яростно опять вскипает утро,
Но жгут меня сквозь канонаду дня
Глаза мальчишек, ясные и мудрые,
Сквозь время наведенные в меня.
И в этой жизни, под спокойным небом,
Я счастлив — если к ночи я донес
Ладони, честно пахнущие хлебом
И той мечтою, терпкою до слез.
Меня влекут бесстрашие и зарева,
Меня влекут правдивые пути,
Чтоб сквозь легенды,
вместе с комиссарами,
К потомку в сны тревожные прийти.

Игорь Грудев

ПРОЩАЛЬНОЕ

У кромки леса
Пахнет дымом,
И пахнет осенью
самой...
И паутинок
Еле зрима
Связь
Между летом
И зимой...

Нет золоченой
серединки,
Сурова жизни
правота:
Прижалась головой
снежинка
К груди
Последнего листа...

ПОИСКИ

Я долго шатался
В печали
По лесу:
Где ствол
Мне найти,—
Отмечен особой
Печатью,
Для скрипки
Он должен расти...
Здесь все
Очень зябко
И зыбко,
Все держится

На весу...
О, где эта
Первая скрипка
В таком
Заплутавшем лесу?!..
И клен отвечал мне
С улыбкой:
— Ты странный
Мудрец-чудачок,—
Здесь каждое
Дерево — скрипка
И каждая ветка —
Смычок...

Нина Груздева

* * *

Все кончено. Ни звука, ни строки...
Теперь пора задуматься настала.
Уже под темным ночи покрывалом
Далекие не светят огоньки.

И не понять, что с памятью стряслось:
Все было беспокойно и любимо,
Но дни прошли, и все промчалось мимо,
И оказалось: ты — случайный гость.

Все исчезает. Раз и навсегда.
Хоть мы вперед ушли еще не много,
Но все назад от нас бежит дорога,
И расцветают веснами года.

Павел Грушко

29-й КИЛОМЕТР

В день, когда весна в сережках
и в туманах серо-синих,
я себе позволю роскошь —
электричку за полтинник,
горизонт рукою трону,
захлебнувшись талой далью,
и к дощатому перрону
в самых сумерках причаляю.

Час назад огромный город
гомонил и нес авоськи,
а сейчас — вороний гогот
и последние полоски
подмосковного заката,
ветер, ветер, драка веток,
звезд подробнейшая карта
и стеклянный звон в кюветах.

Я иду по вешним вехам
тех — далеких — дет счастливых,

где мои беседы с ветром
спят в березовых архивах.
Эта ночь в еловых лапах,
точно снадобье хмельное,
тянет мне забытый запах —
первобытный запах хвои.
В этом мире первых почек,
в эту ночь последних льдышек
что-то дыбится, бормочет,
поворачивается,
дышит...

Это здесь, за поворотом,
если только сердца хватит!
За изломом веток — вот он,
теплый светится квадратик.
Сад залетится тихим смехом,
проскрипит: «Скажи на милость!»
Мать воскликнет: «Ты приехал!»
Побледнеет: «Что случилось?..»

ПАУЗА

В потоке дней и сутолоке дел,
как денежку, однажды мы находим
погожий и такой просторный день,
спеленатый весенним половодьем.
Внезапный, словно заревой сполох
за оголенной судорогой веток,
обычно застает он нас врасплох.
О нем ни слова не было в газетах.
И все же этот день чудесно твой,
ты в нем один, так цельно и нелепо,
наедине с младенческой травой
и вечной переменчивостью неба.
Все то, что ты небрежно отложил,
чтобы доделать и додумать после,

нагрянуло ватагой мыслей в гости,
и ты — невозмутимый старожил,
с таким трудом постигший ремесло
умеренно слоняться по неделям, —
сбит с толку этим вечным новосельем,
куда тебя природой занесло.
Рассыпались букеты пышных фраз,
и расцвели бесхитростные лица...
И может быть, удастся в этот раз
с самим собою косо объяснитьсь.
До миллиграмма выяснить свой вес
не на чужой — на собственной ладони.
Узнать свой знак в таинственном законе
скупого притяжения сердец...

Андрей Дементьев

БАЛЛАДА О ВЕРНОСТИ

Отцы умчались в шлемах краснозвездных.
И матерям отныне не до сна.
Звенит от сабель над Россией воздух,
растоптана конями тишина.

Мужей ждут жены.
Ждут деревни русские.
И кто-то не вернется, может быть...
А в колыбелях спят мальчишки русые,
которым в сорок первом уходить...

1

Заслышав топот, за околицу
бежал мальчонка лет шести.
Все ждал—сейчас примчится конница,
и батька с флагом впереди.

Он поравняется с мальчишкой,
возьмет его к себе в седло...
Но что-то кони медлят слишком
и не врываются в село.
А ночью мать подушке мятой
проплачет правду до конца.
И утром глянет виновато
на сына, ждущего отца.

О, сколько в годы те тревожные
росло отчаянных парней,
что на земле так мало прожили,
да много сделали на ней.

2

Прошли года.
В краю пустынном
над старым холмиком звезда.

* * *

О юность наша!
Ты была нележкой.
И потому мне во сто крат родней.
Ты все познала:
и бомбежек грохот,
и скорбное молчанье матерей.
Ты все постигла:
и тоску по хлебу,
и горькие воскресники войны,
когда наш город, как печальный слепок,

И вот вдова с подросшим сыном
за сотни верст пришла сюда.

Цвели цветы, пылало лето,
и душно пахло чабрецом.
Вот так в степи мальчишка этот
впервые встретился с отцом.

Прочел, глотая слезы, имя,
что сам носил двадцатый год...
Еще не зная, что над ними
темнел в тревоге небосвод.

Что скоро грянет сорок первый.
Что будет смерть со всех сторон.
Что в Польше под звездой фанерной
свое оставит имя он...

Ну вот и все, пора прощаться...
Хотя война давно прошла,
я слышу — кони мчатся, мчатся.
Все мимо нашего села.

И снова, мыкая бессонницу,
итожа долгое житье,
идет старушка за околицу,
куда носился сын ее.

«Уж больно редко,— скажет глухо,—
дают военным отпуска...»
И этот памятник разлукам
увидит внук издалека.

смотрел на нас глазами тишины.
Нам 45-й выдал аттестаты,
а зрелость нашу освятил салют,
и смех отцов, и слезоньки солдаток,
все перенесших ради тех минут.
И потому задор двадцатилетних
я принимаю, не боясь беды.
Как в мае зелень принимают ветви,
которым цвести и приносить плоды.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за то, что ты есть.
За то, что твой голос весенний
приходит, как добрая весть,
в минуты обид и сомнений.

Спасибо за искренний взгляд —
о чем бы тебя ни спросил я...
Во мне твои боли болят,
во мне твои копятся силы.

Спасибо за то, что ты есть...
В разгар деловой суматохи
какие-то скрытые токи
вдруг снова напомнят — ты здесь.

Ты здесь — на земле.
И повсюду
я слышу твой голос и смех.
Вхожу в нашу дружбу как в чудо.
И радуюсь чуду при всех.

Алексей Дидуров

ПОЕЗД

Поезд вздрогнет, потом закричит.
Завопит воробьиное братство.
И, наверное, не без причин
Пассажир начнет улыбаться.

Провожающий хлюпнет в платок,
И опять же не без причины.
Поезд выдохнет хриплый гудок
От избытка паров и кручины.

А за мрачной постройкой депо —
То вагон позабытый, то пара.
Поезд выдаст им верхнее «до»
От избытка кручины и пара.

Что-то вроде: «Ребята, держись!»
И за городом сразу — скорость...
И начнется вагонная жизнь.
И послышится первый голос.

А за окнами будут кружить
Вид за видом, рождаясь и тая,
Мир, где нам друг за дружкой жить,
Друг за дружкой его покидая.

Полыхнут языками огня
То осина, то клен, то береза,
И листом, как крестом, осенят
Раскалившийся лоб паровоза.

ПЕРВАЯ ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Через небесные поля
Прошелестели в завтра тучи.
От тихих вскриков звезд падучих
Окаменели тополя.

Замерзшей стружкой на окне —
Усмешка раннего мороза.
Вот жутковатая морока
Зимы поспешной в октябре.

Обыкновенное окно,
А между тем — окно в былое.
И кажется оно порою
Окном и в то, что быть должно.

Из-за угла, из темноты,
На прошлогоднюю похожей,
Навеселе бредет прохожий,
Как шаткий призрак из мечты.

И вечен звук его шагов...
Такой же и вчера и завтра
Слышал и будет слышать автор,
Как связь и песенку веков.

Звук будет сам бродить, пока
Прольют по толстому, в разводах
Стеклу ночного небосвода
Ведро парного молока.

Вся эта медленная ночь —
Сама собой стихотворенье.
А после будет повторенье.
И станет мне оно невмочь.

Искать слова, сходить с ума...
Стихи дороже, чем алмазы...
Все мои на зиму запасы
Прими, октябрьская зима!

Прошу, прими в один присест,
Не в обязательные сроки,
Всё, что само собою строки
О том, что было, будет, есть.

Олег Дмитриев

МУЗА ИСТОРИИ

Внезапный ветер налетел —
В Симбирске вихорь разразился,
И постепенно опустел
Уютный садик Карамзинский.
Лишь муза Клио, как всегда,
Стояла гордо и бесстрашно,
Вся устремленная туда,
Где жизнь уж ни над чем не властна.
Венчая жизнь Карамзина
К его трудам вниманьем лестным,
Раскрыла пухлый том она
Античным грациозным жестом
И, защитившись высотой
От быстротечной жизни брэнной,
Сияла дерзкой наготой
И красотой совершенной...
Не отрываясь, на нее,
Стоящую на пьедестале,
Смотрела, думая свое,
Крестьянка из заволжской дали,
И юбка грубого холста
Вкруг ног босых, как пламя, билась...
Тяжелорука и проста,
Она богине удивилась.
В платочке белом до бровей,
Клоня вперед большое тело,
Та женщина
Сестре своей
В глаза холодные глядела.

И мальчик из толпы ребят,
Беспечной, шумной, шаловливой,
Увидел — как они стоят:
Крестьянка русская и Клио.
К решетке прислонясь витой,
Волнуясь, он сравнил впервые
Бессмертной музы взгляд пустой
И женщины глаза живые.
Как будто это жизнь сама
Размежевалась вдруг с мечтою
Еще не ясной для ума,
Но очевидною чертою...
Он все припомнит, мальчик тот,
Когда большим и сильным станет.
В великий, незабвенный год
Общенародного восстанья.
И будет муза новых дней
Еще не отлита в металле,
И он тотчас узнает в ней
Крестьянку из заволжской дали:
О, как несла она, свята,
Свой справедливый гнев и милость,
И юбка грубого холста
Вкруг ног ее, как пламя, билась!
С людьми сражений и труда
Она грядущий день творила,
Вся устремленная туда,
Где жизнь рождалась и царила!

* * *

Над речкой мосток деревянный
Качнулся, как борт корабля,—
Смотрю я с улыбкою странной
На ровные эти поля:
Сплошные овсы голубые,
Как сумерки, наземь легли,
И пыль на дорогах прибили
Дожди, что вчера отошли...
Мне родина снится такую,
И даже в черте городской,
Чуть только глаза я закрою,
Я родину вижу такой:
Не буйное красок смешенье,
Не знойных цветов карнавал,

Не бешеных рек мельтешенье,—
Я б это легко забывал! —
А всюду бездонные дали,
Размытые сизым дымком,
Где взгляд опускает детали,
Чтоб все охватить целиком;
Где видятся глазу не просто
Дома на откосе крутом
И нивы, лежащие плоско,—
Я б это не вспомнил потом! —
А жизнь без конца и начала,
Как наших небес синева,
Которая в предках звучала
И будет в потомках жива;
Где видишь на медленных склонах,
На белых скрещеньях дорог,
Не просто там пеших иль конных,—
Когда бы я вспомнить их мог! —
А целый народ мой
С родными
Чертами! Бесчисленный весь
Народ!
И себя на равнине,
В России, на родине, здесь.

Андрей Досталь

КРЫЛЬЯ

Я помню:
Сокол падал с вышины.
Его убили,
Сокол падал наземь,
И были крылья
Болью сведены —
Тугие крылья!
Он упал не сразу...

Плыла земля,
Окутанная мглой..
Плыла земля...
Она ждала
Рассвета!

Теперь трава
Обрызгана
Росой,
Шумят поля,
Зовущие в бессмертье,
Шумят поля...

К морям уходят
Реки.
Земля моя,
Здесь спят твои сыны.
Ты шелестом
Осенней тишины
И зеленью травы
Прикрой им веки.

Железный ветер
Веял с гор.
Теперь сады
Под золотистой пылью...

Так поклонись
Упавшим
За простор,
За то, что были
За плечами крылья.

Я РОДОМ НЕ ИЗ ДЕТСТВА

Я родом не из детства —
Из войны.
И потому, наверное,
Дороже,
Чем ты,
Ценю и счастье тишины,
И каждый новый день,
Что мною прожит.

Я родом не из детства —
Из войны.
Раз, пробираясь партизанской
тропкой,

Я поняла навек,
Что мы должны
Быть добрыми
К любой травинке робкой.

Я родом не из детства —
Из войны.
И может, потому —
Незащищенной:
Сердца фронтовиков обожжены,
А у тебя — шершавые ладони.

Я родом не из детства —
Из войны.
Прости меня —
В том нет моей вины...

* * *

Нет, это не заслуга,
А удача —
Быть девушке
Солдатом на войне.
Когда б сложилась жизнь моя
Иначе,
Как в День Победы
Горько было б мне!..

С восторгом
Нас, девчонок, не встречали:
Нас гнал домой
Охрипший военком.

Так было в сорок первом.
А медали
И прочие регалии —
Потом...

Смотрю назад,
В продымленные дали:
Нет, не заслугой
В тот зловещий год,
А высшим счастьем
Школьницы считали
Возможность умереть
За свой народ.

* * *

В День Победы поднимаем чарки
За невозвратившихся назад.
...Пусть могила Неизвестной Санитарки
Есть пока лишь в памяти солдат.

Тех солдат, которых выносили
(Помнишь взрывы, деревень костры?)

С поля боя девушки России,—
Где ж могила Неизвестной Медсестры?..

Мы отмечены особой метой,
Наши души обожгла война...
Пусть могилы Неизвестной нету —
В сердце поколения она.

* * *

Колесам сердца лихорадочно вторят,
Сползает дымок под откос.
Навстречу ли счастьем,
Навстречу ли горю
Торопится паровоз?

О, вечная смена разлук и свиданий!
Догоним ли счастье мы, друг?
А может быть, счастье
И есть ожиданье —
Колес и сердец перестук?..

Борис Дубровин

ДЕВЯТОЕ МАЯ

Ты рядом, бывшее: во мне не смолкая
Живут побратимов моих имена...
Девятое мая?..
Девятое мая!
Девятое мая — утихла война.

И не понимаю, так просто вставая
Над бруствером и без оружия впервой.
Девятое мая?
Девятое мая!
Стою с непокрытою головой.

По стреляным гильзам ступаю, вминая
В спаленную землю... Обойму достал...
Девятое мая...
Девятое мая...
Еще я патроны не все расстрелял.

Евгений Евтушенко

ФАТИМА

Был в Фátиме праздник. Глазея, толклись у обочины
собаки, ослы, репортеры, туристы, послы,
а вдоль по шоссе в накаленных бинтах скособоченных,
целуя асфальт, обезумевши, люди ползли.

Со стонами, криками, просьбами, плачем, проклятьями
по лужам, ошметкам навоза, осколкам стекла
ползли потому, что когда-то блаженная в Фátиме
явилась народу и что-то ему предрекла.

Крестьянки ползли. Были горем их лица распаханы,
как будто бы каждая — мать Иисуса Христа
и ей возвратят, наконец, ее сына распятого,
растроганно сняв его белое тело с креста.

Ползли Магдалины, корежились, охали, ахали
и сеяли слезы, надеясь на этот посев,
но лишь ухмылялись румяные наглые ангелы,
на спины ползущих, как гадкие мальчики, сев.

И в черных машинах, возвышенно, будто апостолы,
гудками раздвинув ползущих в грязи простаков,
спешили вперед, как на матч, идеологи ползанья,
полиции ткнув индульгенции сверхпропусков.

А на стадионе — усиленным фирмою «Филипса» голосом —
коммерция верой роняла распевно слова,
над морем застывших голов белоснежнейшим конусом
сладчайше качаясь, как сахарная голова.

Взывала коммерция, руки холёные вытянув,
в то время, когда на разбитом шоссе высоты
у бога, ползущего вдаль, на коленях невидимых
закат проступал сквозь туман, словно кровь сквозь бинты.

И люди ползли. И не знали крестьянки несчастные,
что пастыри стада, послушного вере спроста,
не то что не могут — все могут на свете начальники! —
а даже не думают снять их сыночка с креста...

*Португалия
1968*

ОСОБЕННАЯ ТОЧКА

Мы с этой женщиной прощались,
как два редчайших близнеца,
как корабли, чуть сопричалась,
уже расчаливаются.

И в той счастливо-быстрой тайне
мы среди множества нельзя
друг друга поняли бортами,
на них друг друга унося.

В саду желтело, розовело.
Там был обряд прощальный наш,
и капли нежной изабеллы
тишайше всасывал лаваш.

Почти ни слова не сказала
мне эта женщина. Над ней
слезой лиловою свисала
одна инжиринка с ветвей.

Меня рука коснулась тонко.
Услышал я, как изнутри:
«Здесь есть особенная точка.
Ты встань сюда и посмотри».

Я вскинул голову. Кренилась
хурма в морщинах ранних вдов.
Она скрипела и крепилась,
вся в красных лампочках плодов.

И что-то дерево хотело
сказать, прощая и вина,
и на меня оно летело
и прорастало сквозь меня.

А снизу, на высокогорье,
за километра, что ли, два,
сквозь ветви вламывалось море
в глаза, глядящие едва.

И, к нам приблизясь издалека,
сместив пространство неспроста,
дрожала крошечная лодка
на ржавом краешке листа.

И понял я внезапно то, что
на нас нахлынуло, нашло.
Любовь — особенная точка,
и, может, более ничто.

Была та женщина красива
и величава тем была,
что ни о чем не попросила
и даже адрес не взяла.

Все за меня сама решая,
ушла, и только и всего,
но просьба самая большая,
когда не просят ничего.

ИЗ СЛОВАРЯ МОЕГО ДЕТСТВА

Не беглые, не беглецы, а беженцы,—
Смертельным страхом слово рождено.
Но не от бегства, а от неизбежности,
Наверное, произошло оно.

А были ставшие теперь забытыми
И чуть смешные милые слова:
Мы ястребками звали истребителей,
Мы звали керосинками «У-2».
И «мессершмитты» падали подбитые,
И загоралась на лугах трава.

Но было слово вечное, короткое,
И слово это — хлеб. Оно одно
Неколебимо в перекатном грохоте,
И все земное в нем воплощено.

Из лебеды, картошки, листьев липника
Тяжелый хлеб замешивала мать.
Один кусок его, сырого, липкого,
И тот учились натрое ломать.
Да ты о чем? Не надо! Ну не всхлипывай.
Не плакать надо. Надо понимать.

СЛЕДЫ НА СНЕГУ

Спокойной, ровной белизною
Ложатся на землю снега,
И эта белизна строга
Ко всем идущим целиною.

Твои следы хранит она,
И каждый шаг на ней прочтется,
А пройденное все — зачтется,
И вот уже тропа видна.

Мальчишки, мы себя грубей,
И вот признаюсь лишь теперь я,
Что, выпуская голубей,
Хранил оброненные перья.

Мое мальчишество прошло:
Любовь меня крылом коснулась,

И сердце стало на крыло,
И кажется, земля качнулась.

Пускай к кому-то ты добрей,
Пускай не знаю даже, кто ты,
Но не пугают сизарей
Мучительные перелеты.

НА УЛИЦЕ СОВХОЗНОЙ

1

Знать, планировал город умница,
Умудренный бедами лет:
В городишке районном улица
Шириною — почти проспект.
И названьё-то ей — Совхозная,—
Видно, тоже дано не зря:
Горожанам в годину грозную
Пригодилась ее земля.
Сокрушили облог лопатами,
Понаделали равных гряд.
Только вспомню — цветами богатыми
Клумбы-сотки в глазах горят.
Веселей самобранных скатертей
На военной цвели золе...
Так всегда:
Словно дети к матери,
Горожане в беде — к земле.

2

Миновала опасность голода.
И ничуть не скучает глаз
Оттого, что на улицах города
Цвет картошки давно погас.
На просторной Совхозной улице
Нынче снова игра в лапту.
Но бывает — кто-то оступится,
Мяч литой ловя на лету.
И опять всколыхнется в памяти,
Подмывает опять меня
Подойти и спросить:
«А знаете,
Почему здесь в буграх земля?..»

СТИХИ К ПОЛИТИЧЕСКИМ ПЛАКАТАМ

СВОБОДА

Свобода не там, где спины гнут
Под властью кнута и золота.
Свобода тут,
 где правит труд
Под знаком серпа и молота!

НАКАЗ ВОЖДЯ

Единенье коммунистов
 разных наций, разных рас —
Это времени веленье,
 это ленинский наказ!

К ПРОЕКТУ «НАВЕДЕНИЯ МОСТОВ»

Скала зубы, раскрывают рты
Атлантические интриганы.
Замышляют навести мосты
В социалистические страны...
ГОСПОДА! С ТАКОГО МОСТА
И СОРВАТЬСЯ ОЧЕНЬ ПРОСТО.

ПУТЬ В КОСМОС

Обоих полушарий космонавты
Себя науке отдают сполна.
Сегодня — слава им! — достигнута Луна,
Триумфы новые мы будем видеть завтра!

Предела нет науке! В этом суть
Того, что лунный подвиг легендарен...
Становится широким смелый путь,
Который в космос проторил Гагарин.

НАЧАЛО ЗВЕЗДНЫХ МАРШРУТОВ

В Калуге, на улице Брута,
в Москве, на Садово-Спасской,
начало звездных маршрутов,
тогда казавшихся сказкой.

...Еще наша Родина
Азией
слыла у западных стран.
Еще в Европе фантазией
считали Ленинский план.
Еще не забылась гидра,
что с плакатов рычала,
когда под именем ГИРДа
возникло это начало.
Слово ГИРД, чье значение
прочтете в журнале, в книге ли:
Группа по Изучению
Реактивных Двигателей,—
тогда, за стенкой фанерной,
читалось в подвале старом:
Группа Инженеров,
Работающих Даром.
Так вспомним же добрым словом,
под звонким весенним солнцем,
Цандера с Королевым
и всех друзей-циолковцев —
тех, кто в гирдовских буднях,
радостных, как субботник,
обдумывал первый Спутник,
веря в наше Сегодня!
Бывало, в темном подвале
долго ломали голову:
где для новой детали
взять серебра или олова?
Бросали в тигель, без возгласа,
серебряные сервизы,
чтоб нас улыбкой из космоса
приветствовал телевизор...
Славя звездных пилотов,
Героев Страны Советов,
вспомним тех, кто работал
над первой, пробной ракетой!

Анатолий Жигулин

* * *

Здесь, на окраине, над лугом,
Был дом, украшенный резьбой.
И был рассыпан черный уголь
Под водосточною трубой.

И доносился сладкий привкус
С далеких нив, где зрела рожь.
И выносили пыльный фикус
На теплый, пенный летний дождь.

Здесь тополя цвели в истоме,
В том чистом мире детских лет.
Здесь я родился, в этом доме,
Которого давно уж нет.

А мне он так сегодня нужен,
Тот ранний мир моей души,
Где я с восторгом шел по лужам,
Не зная горечи и лжи.

Он где-то здесь, под пепелищем,
В глубинах сердца, в толще дней...
Мы все его тревожно ищем
В суровой зрелости своей.

* * *

Сухая внуковская осень.
На взгорках убраны овсы.
На славу вымахала озимь
До самой взлетной полосы.

За грозным ревом самолетным
Никто не видел, как прошли
Неясным кликом перелетным
В холодном небе журавли.

И на обветренных покосах
Блестит стерня со всех сторон.
И тихо светится в березах
Седая боль былых времен.

Но все как будто бы забыто
Землей, природой и людьми.
И даль, и сердце — все открыто
Покою, свету и любви.

Тамара Жирмунская

* * *

Как мала моя дочь!
Как стара моя мать!
Как должна я обоих детей опекать!
Дочке — сказки читать,
маме — правду смягчать,
на одну покричать,
а другой промолчать.

Нелегко мне
твердить вместе с дочкой азы,
запрокидывать к небу картавый язык.
Нелегко наперед
вместе с мамой моей
разгонять
отложения всяких солей.

Две обузы —
на что я себя обрекла! —
два гремучих прицепа,
два тяжких крыла,
две мои половины:
я и дочь, я и мать.
Как мне их отделить?
Как себя разорвать?

Владимир Жуков

ТКАЧИХИ

Отплясал, отплакал День Победы
в «малогабаритке» у ткачих...
Чуть поприглушились вдовьи беды
с горькой полбутылки на троих.

В окна бьет черемуховой вьюгой
духовито, знобко и свежо.
Вот еще бы дочку или внука —
было бы и вовсе хорошо!

Тут уж не до свадебных резонов,
не скреблось бы горе на душе...
Скоро вот, по новому закону,
можно и на пенсию уже.

С мимолетным счастьем повстречались,
а забыть — не хватит жизни всей.
В сорок первом мае повлюблились,
а в июне отдали мужей.

Ждали... А другие вот рожали
от солдат.

И нечего судить!
Ладно, что достоинство держали,
эх, да что об этом говорить...

Так они сидят, лицом в ладони,
от шести часов и до шести.
Вы потише за окном, гармонии,
дайте людям душу отвести.

* * *

Какая уж выпадет карта —
в бою тебя пуля прошьет
иль навзничь
инфаркт миокарда
завалит и к койке прижмет,—

и вот твоё грешное тело
уже расстается с душой...
А главного ты и не сделал!
...А главным — и был этот бой.

Анатолий Заяц

* * *

Чем мглистей те лета,
Тем беспокойней,
Тем резче проступают времена,
Когда его
Малиновые кони
Веселым ржаньем
Звали в стремяна.
Неистовые ритмы напевая,
Народную отстаивая власть,
Буденовками небо задевая,
Степями кавалерия неслась.
И вот ему просторно, озаренно —
Пускай полсотни лет уже сошло —
Не перестали сниться эскадроны,
Летающие с клинками наголо!

...А сыновьям, все сны перекрывая
(Подъем и в бой — начало всех начал),
Не перестала сниться мировая,
Вторая мировая по ночам.
Им лить металл,
Косить хлеба и травы,
Но им —
Уж четверть века день за днем —
Не перестали сниться переправы
Под навесным жестоким артогнем.
Им — демобилизованным солдатам,
Саперам и водителям «катюш»,—
Не перестанет сниться сорок пятый
В проломах расплзающихся туч.

Таков наш век.
Чтоб женщины смеялись,
Чтоб реки серебрились под луной,
Чтобы рассвета вспыхнувшая алость
Не омрачалась алостью иной,—
Мы шли на смерть.
Горели в самолетах,
Спасали и топили корабли
И падали на вражеские доты,
Руками обнимая полземли.

А сыновьям,
Которым только двадцать,
Не видевшим, не слышавшим войны,
Глаза любимой
Снятся, снятся, снятся,
В закатах золотых отражены.
Но им,
Когда вернутся, сняв погоны
И младшим братьям карабины сдав,
Не перестанут сниться полигоны
И танкодромы у погранзастав.

И нашим внукам дальним
Через годы,
Чтоб женщины смеялись и цвели,
Не перестанут сниться космолеты,
Летающие к земле и от земли.

Анатолий Землянский

НА УЧЕНИЯХ

Мне сказал посредник:
«Вы убиты.
Так в бою не ползают, друг мой...»
И лежал я у куста ракиты,
По законам боя — неживой.

Вкруг меня качало ветром травы,
Надо мной синел и цвел зенит.
И поверить трудно было, право,
Что в живом пространстве ты — убит.

А в глазах посредника бездонье —
Давних болей и утрат следы.
И поверил я ему, и понял,
Что меня хранит он от беды.

* * *

Помню день,
Помню час,
Буду помнить бессрочно:
Разметав по земле предвечернюю тень,
Виснут
 дымного неба горячие клочья
Над остывшим пожарищем двух деревень.

Отплясала земля тут под бомбами.
Тихо.
Даже ветер
Как будто от горя
Поник.
И снует неустанно по черному лиху
С непокрытой седой головою старик.

А с ним рядом,
Как белая тень, неразлучна
Ходит,
 в гари сыпучей теряя следы,
Изошедшая плачем, притихшая внучка..
Будет длинною память у этой беды.

Николай Зиновьев

ПАРОМЩИК

Когда в тени, у ранней рощи,
лучом расколота река,
Иван Матвеевич, паромщик,
соединяет берега.

Разбилось что-то в мире снова.
И, беспокойный за восход,
осколки зеркала речного
он в горсть задумчиво берет,
Иван Матвеевич шепчет: «Ладно,
отправлю первыми школят...
Ведь удовольствие — обратно
их, поумневших, брать назад».

Подует ветер из лощины,
и, свет посеяв в старике,
ему разгладит он морщины,
вдруг отраженные в реке.
Но ночью снится ему часто —
то сирота, то инвалид

* * *

Волнуясь клятвенно пред чудом,
когда уходит листолёт,
природа, белое предчувствуя,
все краски мира отдает.

И вспоминаешь ты, как выход,
ту пору смутную в душе,

из дальних сел к нему стучатся,
мол, он поймет, соединит.

И за окошком плачет осень,
уж ты, вдову, ее прости.
Зовет убитого... И просит
на берег тот перевезти.

А что ты можешь переправой?
Как утаишь улыбку уст?!
Не можешь ты сказать ей правду.
Что нет его. Что берег пуст.

Скрипит паром... И в этом звуке
живет тревога старика:
соединять устали руки.
Но как же бросить берега?!

И он порой боится мудро,
меж берегов тревожа нить,
вдруг умереть посреди утра
и их собой разъединить.

когда глаза еще закрыты,
но утро чувствуешь уже...

А ты бесстрашно открывай их!
Да оградит тебя от бед
от края белый и до края
тот в самом деле белый свет.

ПОСЛЕДНИЙ ТЕЛЕФОН

...Как быстро отрывается назад
с последними домами за Москвой
последний телефонный автомат,
как связь моя последняя с тобой!

И первое, что вспомнил я,— «прости»,
и первое, что понял,— «виноват».

Как стеклышко надежды позади,
последний телефонный автомат...

И душит меня ветер с пустырей,
как руки не могу твои отнять.
Из всей приобретенности моей
осталось только право вспоминать.

ЛЕРМОНТОВСКИЕ МЕСТА

Три стихотворения

1

Под снегом яблони курчавы.
Дорога на Машук тиха.
Пространства русского стиха
Вблизи Кавказа величавы.

Впервые вижу этот край.
Уже люблю его. Но ветки
Закрыли небо частой сеткой,
И льдинки в них звенят: прощай!

Здесь снег — случайный гость, как я.
Однако вот она, поляна.
Сюда выходит колея
Двойною вестью из тумана.

Лес поднимается вразброд
И выше движется куда-то.
Земля вблизи горячих вод,
Как грудь убитого, поката.

Здесь опускался пистолет
В ладонь и холодил сначала,
И эхо сдвоенно звучало
В горах. И все звучит с тех лет.

Но я-то это знал давно.
Так что же тянет с малолетства
К местам трагическим? Вглядеться
В лицо судьбы не суждено.

2

Не берусь описать эти свечи,
Изразцовые белые печи
И овальное зеркало в раме,
Где мелькнул я, как на экране.
Разве может в сафьяне тетрадка,
И небрежная эта закладка,
И перо, очиненное тонко,
И чернильница, словно солонка,
И уютное ложе дивана

Удержать, сохранить без обмана
Атмосферу полуночи сонной,
Сухость кожи руки утомленной?
Нет, не в силах попутные вещи
Это сделать! Лишь отсвет зловещий,
Что упал на открытое поле
Двух тетрадных листков, полон боли.
Луч, коснувшись написанной фразы,
Дальней мысли исполнился сразу,
И уже непонятно — о чудо! —
Свет струится туда иль оттуда.

3

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

Отсюда он поехал на Бешту,
Под Пятигорск, в то утро роковое.
И кони взяли рысью под горою,
И загремели доски на мосту.

Дорога уходила под уклон
И к выстрелу вела неумолимо,
Три грозовые тучи, гуще дыма,
Клубились над дорогой с трех сторон.

В нем странное предчувствие жило:
Сейчас судьба крылом смертельным

двинет,

И сердце вместе с пулею остынет.
Но у судьбы второе есть крыло!

Она взмахнет, судьба, вторым крылом —
Он будет жить! Под этим небом летним
Звук выстрела не станет последним.
Что он поймет: все кончится добром.

Предчувствия слепое торжество —
Всей жизни коренная перемена!
Он угадал, но неодновременно
Взмахнула крыльями судьба его.

* * *

Ты помнишь, в Кореизе море
Открылось в самый первый раз.
И шел на медленном моторе
В пяти шагах от нас баркас.

Был светлый небосвод громаден
И близок — взгляд не отвести.
И семь зеленых виноградин
Ты подносила мне в горсти.

Темнели чайки, словно пятна
На солнце, рассыпались в прах.
Горчила косточка приятно,
Переломившись на зубах.

Вода светлела, привставая,
И плавно уходила вспять,
Как будто женщина живая,
Которую нельзя обнять.

Игорь Иванов

НАД ВОЛГОЙ

Сквозь дым катились мерно волны,
Горел ивняк на берегу...
Россия-мать!

Своею Волгой
Ты преградила путь врагу.

А над обрывом бились люди.
И каждому хотелось жить...
Но можно было только грудью
России сердце заслонить.

Железа крепче плоть людская —
Пробиться к Волге враг не смог...

Березы юные ласкает
Степной прозрачный ветерок.

Весной природа хорошеет —
Мир полон тихой красоты...
И над размытою траншеей
Склонили голову цветы.

ПАМЯТЬ НА ПОВЕРКЕ

— Смирно! —

поименная поверка.—

Снова память повела отсчет.
Снова по приказу Главковерха
Держит строй двадцать четвертый год.
Серые шинели и обмотки,
Серые брезентовые ремни.
Локоть к локтю встали одногодки.
На одно лицо, с одной колодки
Словно бы сработаны они.
Поголовно под нулевку стриженные,
На судьбу и время не обиженные.
Им еще старшинами не розданы
Фронтовые первые сто грамм,
Не качнулись каски их со звездами
В стеклах оружейных панорам.
Это позже будут они выбиты
На гранитных досках и скрижалях.
Будет сердце замирать и падать
От простого счастья бытия...
В том строю стою навечно я,—
Все ведет, ведет поверку память!

РАЗВЕСЕЛЯЯ У НАС ХОЗЯЙКА

Развеселая у нас хозяйка.
Что идет война — не наша вина.
Три струны у балалайки —
Сыпь, Семеновна!
Эх, сыпь, Семеновна,
Да подсыпай, Семеновна!
Ой, скучала я без вас
Да семь ден одна...
Озорные слова,
Шалая попевочка.
— Я не мужняя жена,
Я не баба, не вдова,—
Девочка! —
Балалайка бает байки,
Струны плещутся в горсти.

Развеселая у нас хозяйка.
А хозяйке нет и десяти.
Что поет — сама не понимает,
Настроенье наше поднимает.
Словно в рот воды
Набрала рота маршевая,
Клонит долу стриженные лбы.
Словно в рот воды...
Сидим, не спрашивая
Ни о чем хозяйку избы.
Та изба — одна во всем поселке.
Снег. В снегу, как галки, головни.
Солнце режет ноги об осколки,
Смывает в проруби ступни...
Развеселая у нас хозяйка!

ПОСЛЕ МАНЕВРОВ

Маневры — это выдержка и нервы.
Война без жертв. А все-таки война.
Ну вот и все. Закончены маневры,
И снова на границе тишина.
Горит костер. Усталые полковники
Пьют чай, заваренный на травах и лимоннике,
Ведут неторопливый разговор
О том о сем, обходят лишь ученья,
Поскольку в тех ученьях упущенья
Им штаб припомнит, проводя разбор.
Все мускулы еще напряжены,
И чутко ухо ловит каждый шорох.
И ветер с сопредельной стороны
Сушняк в костер швыряет, словно порох.

Владимир Карпеко

НА ТАКТИКЕ

Осенний день, сырой и тусклый,
Все поле залито водой.
И учит ползать по-пластунски
Пехоту капитан седой.

Мокры шинели и помяты,
Грязюку черпает сапог...
В десятый раз ползут солдаты,
А он кричит: — Еще разок!..

— Ну, капитан!.. Ох, злющий, дьявол!—
Ползут, обидою делясь,—
Вот сам бы, дьявол, тут поплавал
Да поутюжил пузом грязь,
Похлюпал бы по глине склизкой!..

А капитан совсем не злой —
Он просто знает: пули низко
Стригут, над самою землей.

Недаром у него на шее
Алеет шрама полоса...
Он их жалеет. И, жалея,
Гоняет лишних полчаса.

Алексей Кафанов

ИЗ ЦИКЛА «ПАМЯТЬ»

Все, что ни есть, кончаются дороги,
Бег времени не оборотишь вспять.
Но памяти высокие пороги
Еще не раз я буду обивать!

1

По утрам, когда последний сон,
Как волна, покачивает спящих,
Свежую газету почтальон
Опускает в наш почтовый ящик.

Каждый день — подписчик годовой —
Достаю газету я с опаской:
Чем пахнёт с ее страниц? Войной?
Или просто типографской краской?

2

Нынче утром проснулся рано,
Руки за голову заведя,
Чуть прислушался — было странно
Слышать сдержанный плеск дождя.

Вспомнил госпиталь, запах стойкий.
На подушку рухнув ничком,
Молча плачет сосед на койке,
Только плечи его — ходуном.

3

Отец носил зеленые петлицы.
В потертой кобуре лежал наган.
Его он чистил, воротясь с границы,
Семизарядный вынул барабан.

Блеск стали привлекал неудержимо.
И мне, когда стоял я у стола,
Казалось все, что вьется струйка дыма
Из пахнущего порохом ствола.

4

Каганец озаряет землянку,
Чтобы пламя его не погасло,
То и дело в консервную банку
Подливал я ружейное масло.

Я не мог удержаться от вздоха.
И сказал командир отделения:

«А сейчас по сто грамм бы, Алеха,—
Потому как твое день-рождение...»

5

Память словно воздух разреженный,
Каждый вдох — удушьем вам грозит...
Чей-то выкрик в толчее перронной,
Из вагонов хлоркою разит.

Тороплюсь окно открыть, но рама
Все не подается — перекося.
Сквозь стекло с перрона смотрит мама
И не видит ничего от слез.

6

За мной в упор следят три пары глаз.
Буханку режу на четыре доли.
Кому?

Встает спиной один из нас:
«Сержанту. Мне. Токмагамбету. Коле».

Как вкусен хлеб, когда его жуешь,
Вгрызаясь в поджаренную корку!
Я чувствовал, как он хрустит, и все ж
Обменивал я хлеб свой на махорку.

7

Шинеля носили с тобой мы.
Сапоги из кирзово́й кожи.
Как патроны одной обоймы,
Друг на друга были похожи,

На тебя смотрю — ты в берете,
И брюшко появилось вроде...
А ты помнишь год сорок третий?
Самым тощим ты был во взводе.

8

Завидовать — занятие пустое!
Но стать бы молодым, тебе под стать!
Ведь ты сумеешь повидать такое,
Что мне уж не удастся увидеть!

Завидовать — занятие пустое.
Но свысока о прошлом не суди!
Ведь повидать мне довелось такое:
Тебе увидеть — бог не приведи!

Инна Кашежева

* * *

Здравствуй, город моих шестнадцати!
Здравствуй, я в те далекие дни!
Через годы, как через насыпи,
Я спускаюсь в твои огни.
Белозубо смеюсь, безудержно,
Как теперь суметь не всегда...
Снова ты терпеливо учишься
Отвыкать от меня на года.
Открывать свои тайны нестрашные,
Отрывать, простясь, от груди,
Отмывать мои раны пустышные
И готовить к большим — впереди.
За разгаданными загадками,
За листками календаря,

За сползающими загарами
Полудетская страсть моя.
Перепутанная, придуманная,
Позабытая впопыхах,
Вся еще туманно-предутренняя,
Вся — румянец сплошной на щеках.
Настороженность стала чуткостью,
Только зов далекий не смолк...
Обернулось предчувствие чувствами,
Как царевичем серый волк.
...Опущу на секунду голову
И, услышав шаг, подниму:
Кто-то снова подходит к городу,
Чтоб, как я, поклониться ему.

* * *

В сотый раз к Эльбрусу припадаю...
Мудрая гора, благослови!
Как слепые, пальцами читаю
Каменную летопись земли.
Вся она передо мной раскрыта,
Слышу пульсом древний пульс горы:
Все стучат умолкшие копыта,
Все горят угасшие костры.
Я хочу услышать, не подслушать,
Сквозь века, сквозь эти валуны
У костров — сказания пастушьи,
В седлах — песни скачущих с войны.
Мне сегодня так необходимо
Целой грудью навсегда вдохнуть
Вперемешку выдумки и дыма
И промерять песней тот же путь,
Тот же путь по этим самым тропам
Головокружительным галопом,
Как твои далекие сыны,
Что победу привезли с войны.
И, передохнув после дороги,
Взяли вновь свои пастушьи роги.
И, присев на склоне у костра,
Все тебе поведали, гора.
...Внемля несмолкающей беседе,
Что ведешь ты с ними и со мной,
Понимаю: ты мое бессмертье,
Ты бессмертье Родины самой.

БАЛЛАДА О ГРУЗИНСКОМ СЛОВЕ

Это я слышал в автобусе как-то случайно:
Рядом со мною сидели грузины и говорили.
Вдруг я услышал прекрасное слово,
Грузинское слово,
Мне незнакомое слово.

Я был смятен, оглушен, ошарашен!
Шел я домой, про себя повторяя то слово,
И улыбался ему, как прекраснейшей из незнакомок,
Из-за угла выходящей внезапно навстречу.

«Хуже всего нерешительность!» —
так я подумал.

За руку слово схватил,
Пригласил в мое сердце.
—Входи,— я сказал,— в небогатую горницу сердца.
Располагайся,— сказал я.— Живи!

Слово сурово сдвинуло брови,
Стало холодным, как лед, неприступным,
И отказалось войти в мое сердце.

Стал я хитрить и обхаживать слово.
Стал демонстрировать ум, эрудицию, силу,
Хвастался тем, что тоскую в разлуке с Тбилиси,—
Я возносил, поносил, возвышал, низвергал
Это слово —
И намекал, что пылаю к нему
Потаенною страстью.

Все было — зря. Не осталось со мной
Это слово,—
То ли грузина во мне не признало,
То ли надменно решило, что я недостоин знакомства.

Погоревал, погрузил я немного...
Что-то меня отвлекло, и забыл я о слове,

Так вдалеке от родимого края
Встречаю порою слова, что на женщин-грузинок похожи,
И тщетно пытаюсь
Их гордое сердце пленить.

Перевод с грузинского В. Слуцкого

Александр Коваль-Волков

* * *

А здесь — все так и не иначе:
ты как планета, остров мой,
зимой пурга, что белка, скачет,
поставив белый хвост трубой;
и сопки,
срезав млечный бисер,
горят зигзагом в вышине.
С них, ощетиная шкурой лисьей,
тайга срывается ко мне.
Здесь к мужеству дорога наша,
здесь, позабыв покой и сон,
шагает в жизнь поселок «Чаша»,
наш именитый гарнизон.
Над ним, все сутки не смолкая,
вздывает гром аэродром,
моя — до звезд — передовая
с семьей и небом под крылом...
А за спиной — страна без края,
на тыщи верст, до тех степей,
где Дон Иванович играет
под мерной люлькою моей.

* * *

Летит дорога серпантинном,
Ей ни конца ни края нет.
Кавказа строгие вершины
Хранят ее сто тысяч лет.
Она то катится в ущелье,
То пропадает в облаках,—
Свистят стремительные ели,
И скалы кружатся в глазах.
Она строптивей недотроги,
И неспроста сдается мне,
Что я на буйном скакуне
Лечу куда-то по тревоге.
А серпантин уходит в роздымь,
Туда, где за грядой — гряда,
Где дышит родниковый воздух
Твоим движеньем, высота.
И сердце знает восхищенно:
Дорога сильным не страшна —
Парнями славными в погонах
До звезд объезжена она!

Кирилл Ковальджи

ГОРОДОК

(из поэмы)

Говорят, что у него было около сорока названий. Греки из Милета окрестили его Николион, финикийцы — Офиуза, римляне — Тира и Альба-Юлия, анты — Турис, половцы — Аклиба, угличи — Белгород, венецианцы — Мон-Кастро, генуэзцы — Аспрон, венгры — Фериевар, византийцы — Левкополис, молдаване — Чета-ты-Албэ, турки — Аккерман. В нашем веке он тоже пять раз менял свое название. Наконец, с августа 1944 года, он называется Белгород-Днестровский...

Судьбы мира вершили столицы,
Обнимаясь и ссорясь порой.
Проживал городок на границе
Между первой войной и второй.

Виноградный зеленый лист...
Начал песню тогда

гитарист:

Корни стары, но молоды ветви!
Ты из тех городов-стариков,
Приблизительно двести нашествий
Переживших за двадцать веков.

Ты на месте стоял и привык,
Что граница, как тело удава,
Пролежала то слева, то справа,
То поодаль, то снова впритык.

Время было смычком, а ты —
скрипкой...

Только чаще по волнам времен
Ненасытные Сцилла с Харибдой
С четырех налетали сторон.

В агитации дюжины партий
Не сумел разобрать ни аза,
Надвигается — чуял — гроза,
И спешил затеряться на карте,
Чтоб грозе не бросаться в глаза.

В безысходности той роковой
Что бы дальше он пел — неизвестно...
Повернул продолжение песни
Год решительный
сороковой.

Мир открывшийся чист и огромен,
Бесприютная доля — вранье.
Революция — родина родин,
Справедливость — столица ее.

Справедливость границу с лимана
Сорвала, точно с глаз пелену,
И до Тихого до океана
Распахнула родную страну.

Город мой, твои новые соты
С каждым годом полней и щедрей...

Но куда-то зовут самолеты
Дочерей твоих и сыновей.
Свысока они смотрят на город,
С нетерпением ждут перемен.
Мир гремящий послушно наколот
На иглу их карманных антенн.
Снятся им города и победы,
Дела нет им до прошлой беды.
Зачарованы небом побеги,
О земле вспоминают плоды.
Говорит понимающе город:
Мне остаться пора позади.
Уходи от меня. Ты мне дорог,
Потому от меня уходи.

Я привык быть любимым и
брошенным,
Потому что я только гнездо.
Порывая со мною, как с прошлым,
Навсегда не уходит никто.

Уходя и бывшее гоня,
Огорчишь меня, но не обидишь;
Коль останешься — возненавидишь,
А покинешь — полюбишь меня.

Я люблю тебя цельно и слитно,
И мне больно от этой любви,
Потому что любовь беззащитна
Перед смертью, войной и людьми.
Но завидная выпала участь,
И я счастлив от этой любви —
В ней единственной скрыта живучесть
Жизни, родины, цели, семьи.

Яков Козловский

КАЙСЫНУ КУЛИЕВУ

Дымилась даль на горизонте,
Когда, исполненные веры,
Мы познакомились на фронте,
Молоденькие офицеры.

И вслух не поминали бога,
Хоть в Сталинграде уцелели.
Нам было меньше лет намного,
Чем Лермонтову в день дуэли.

И на лугу стояли местном,
Под сенью раненого вяза.
Я был, как нарочный, безвестным,
А ты — был гордостью Кавказа.

Глаголы истины — жестоки,
И помню, как, суров и вкрадчив,
Ты мне читал чужие строки,
Печально их переиначив.

Ты, знаменитый взлетом ранним,
Хваленых сторонился мумий.
И я дивился острым граням
Твоих суждений и раздумий.

Мы, вдоволь на войне намучась,
Еще не ведали в дни эти,
Какая выпадет нам участь
И что нас ждет на белом свете.

..И снова: то во мгле дорога,
То в бликах солнечной насечки.
Теперь нам больше лет намного,
Чем Пушкину у Черной Речки.

А жизнь — прекрасная особа,
Хоть и не чужды ей химеры.
И кажется:

еще мы оба
Молоденькие офицеры.

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ

Где окликает ведьму леший,
А лося рев как зов трубы,
Покрыты бронзой потемневшей
Слоновоногие дубы.

И в предотлетной карусели
Грачами вычернен закат.
Они всех раньше прилетели,
Они всех позже улетят.

И как бы вечер в тьму ни кутал
Деревья и дома вдали,
Над ними сумеречный купол
Темнеет медленней земли.

И снова туча — пес бродячий —
Летит куда-то напрямик,
Свисает месяц, как собачий,
Клыками венчаный язык.

Осип Колычев

ЖИВОЙ ИЛЬИЧ

Живым
вошел он
в фильм документальный,
Дат и событий
достоверный след...
Пусть кинообраз,
образ театральный
Дают нам яркий
ленинский портрет.
Пусть каждый жест
изучен и отобран
И пусть верна
воссозданная речь,
Пусть ленинский
правдоподобен образ,—
Хочу
живым
его в душе сберечь.
А он живет
в документальной пленке —
В своем слегка помятом пиджаке,—
Когда в Москве
еще ходили конки:
То — скромно,
с Бонч-Бруевичем,
в сторонке,—
То — на трибуне,
у Кремля,
с кепчонкой,
Зажатою
в стремительной руке.

Павел Кудрявцев

ЛЕНИНСКИЙ ШАЛАШ

Забыть ли то место, ту дату,
Того, кто у мира в душе,
Кто в дальнем Разливе когда-то
Трудился для Родины свято,
И жил, и мечтал в шалаше...

И верь нам, родная Отчизна:
Мы, чувством единым дыша,
Построим дворцы коммунизма;
И все ж не затмят они в жизни
Величье
того
Шалаша!

Александр Коренев

ЭТО БЫЛО

Было нас в палате двадцать человек,
И тяжелораненых, и временных калек,
А кто и совсем без ног навек...
И все же в палате этой тесной
Смех стоял, и свет для нас не мерк.
Потому что это было честно.

Диверсантов, всех десятерых,
Попросту — юнцов, бойцов моих родных
С девушкой-радисткой — в час отъезда
Я запомнил... А потом зима...
Выжил я. И не сошел с ума.
Потому что это было честно.

Их, еще мальчишек, в тех лесах
Убивали на моих глазах.
Даже через четверть века — здесь

Плакали поляки, показав
Мне ее могилу в роще местной...
Потому что это было честно.

Кто вернулся, уезжали в степь,
Стройка неизвестная Южсиб.
Или техникум... Уже с невестой...
Пусть пока что карточки на хлеб
И бараки... Это было честно.

Ежели я завтра упаду —
Сердце разорвется на ходу
От волненья, от отчаянья, в чаду,
В споре с прорвой, с кабинетной бездной,—
Вот стихи останутся зато,
И помру, как на войне, светло.

Потому что это будет честно,

ФЕЛИКС ЭДМУНДОВИЧ

Ни хладнокровия, ни веры
Он не терял в опасный час.
Пытались правые эсеры
Убить не раз.

В кольце измен,
В мгновенья скверные
Непроницаемой всего —
По-якобински вдохновенное
Лицо его.

Спокоен, когда мимо (чудом лишь...)
Гуднула пуля, как слепень;
Спокоен был
Феликс Эдмундович
И в страшный день,

Когда осмелились на Ленина...
И в дни террора, казня врага...
Нигде не выказал волнения
Глава ЧК.

И лишь на станции Хамовники,
В товарный заглянувши вагон,
При виде
Замерзшего беспризорника
Заплакал он.

ЗДРАВСТВУЙ, МАМА

Здравствуй, мама, Софья Романовна!
Не во сне, не примерещилось, нет,
Возвращаешься, чуть прихрамывая,
Улицей далеких лет.
Узнаю допотопное, в клетку,
Я пальто твое и походку.
Ты спешишь накормить семью
И авоську несешь и суму
В двух руках, задевая за тумбы.
А вверху, над тобою, портреты
На домах. Перед праздником это.

С двух сторон, поквартально, подомно,
Они всюду маячат огромно.
Грузовик марки «Амо» по мостовой
Вдруг прогрохал в синегазовой дымке.
Ты с авоськой и сумкой, мама, домой
По бульжнику Малой Ордынки.

И лицо, для других неприметное,
Твое в горьких морщинках, светлое,
Узнаю! Из-под шляпки старой
Сединой уже тронутые волосы.
Мама, ты идешь усталая
Из распределителя, из ора,
Что-то «выбросили» там, «выдали»,
Ты из очереди по Замоскворечью...
И, тебя заметив издали,
Три заморыша лохматых навстречу.
Нету — в сумку носами — вкусного?
Трое нас... Мама наша. Мать.
Здравствуй в памяти!
Родная и неузнанная,
Не успел тебя я узнать.

В детстве кажутся вечными — мама и детство,
Бесконечно лентою лет.
А подрос, не успел оглядеться,
Как ни дома, ни матери нет.

Но всем лучшим — я маме обязан сегодня!
Если искренен я, если стою чего-то,
То ее отражается свет...
Я все думаю, как же ей трудно и голодно
Приходилось воспитывать нас, поднимать.
Наши матери! В тяжкие, скудные годы
Силы все свои, жизнь всю вы отдали нам.
Нету слов — всю любовь свою выразить, мама!
Нет подарка — тебя чтобы стоил он, мама!
Всех великих усилий и подвигов мало,
Чтобы долг наш отдать матерям!

Наум Коржавин

ТЕМ, КОГО Я ЛЮБИЛ В ЮНОСТИ

Я вас любил, как я умел один,
А вы любили роковых мужчин.

Они всегда смотрели сверху вниз.
Они внушать умели: подчинись.

Они считали: по заслугам честь...
И вам казалось: в этом что-то есть.

Да, что-то есть, что ясно не вполне.
Ведь вам казалось — пали вы в цене,

Вас удивлял мой восхищенный взгляд.
Вы знали: так на женщин не глядят.

Взгляд снизу вверх... На вас! Да это бред!
Вы были для меня легки, как свет.

И это понимали вы подчас.
Но вам казалось, я похож на вас.

Поскольку от любви не защищен,
А это значит — мужества лишен.

И шли в объятья подлинных мужчин,
И оставался снова я один.

Век мужества! Дела пошли всерьез.
И трудно я свое сквозь жизнь пронес.

И вот я жив... Но словно нет в живых
Мужчин бывалых ваших роковых.

Их рок поблек, сегодня рок иной.
Все чаще вы, грустя, гордитесь мной.

А впрочем, что же — суета, дела...
Виню вас? Нет. Но просто жизнь прошла.

Себя виню... Понятно мне давно,
Что снизу вверх смотреть на вас грешно.

О, этот взгляд! Он вам и дал пропасть.
Я верю, как в маяк, в мужскую власть.

Но лишь найдет, и вновь — пусть это грех —
Смотрю на вас, как прежде — снизу вверх.

И униженья сердцу в этом нет.
Я знаю: вы и впрямь легки, как свет.

Я знаю, это так — я вновь богат...
Но снова память гасит этот взгляд.

И потухает взгляд, хоть, может, он
Теперь вам вовсе не был бы смешон.

ВЛАЖНЫЙ СНЕГ

1

Ты б радость была и свобода,
И ветер, и солнце, и путь.
В глазах твоих бог, и природа,
И вечная женская суть.

Мне б нынче обнять твои ноги,
В колени лицо свое вжать,
Отдать половину тревоги,
Частицу покоя вобрать.

2

Полон я светом, и ветром, и страстью,
Всем невозможным, несбывшимся, ранним,
Ты — моя девочка, сказка про счастье,
Опровержение разочарований...
Как мы плутали! Но нынче на деле
Сбывшейся встречей плутание снято.
Киев встречал нас веселой метелью
Влажных снежинок, больших и мохнатых.
День был наполнен стремительным ветром.
Шли мы сквозь ветер, часов не считая,
И в волосах твоих, мягких и светлых,
Снег оседал, расплывался и таял.
Бил по лицу и был нежен.

Казалось,

Так вот идти нам сквозь снег и преграды
В жизнь и победы, встречаться глазами,
Чувствовать эту вот бьющую радость...
Двери наотмашь, и мир будто настезь,—
Снег безмятежный и ветер тревожный...
Шли мы и шли, задыхаясь от счастья,
Поражены, что такое возможно.

3

Один. И ни жены, ни друга.
На улице еще зима,
И солнце льется на Калугу,
На крыши, церкви и дома.
Блеск солнца. Сердце счастья просит.
И я гадаю в тишине,
Куда меня еще забросит
И как ты вспомнишь обо мне...
И вновь метель. И влажный снег.
Власть друг над другом и безвластье.
И просветленный, тихий смех,
Чуть в глубине задетый страстью.

Григорий Корин

НОВОРОССИЙСК, 1943

Кровельщик,
Первый кровельщик над Новороссийском,
Над городом без дверей и окон,
Над домами без крыш и стен...
Дождь,
Разбуженный ветром,
Стучится в рваную жесь чердака,
В обломок жилья
Над городом без перекрестков и улиц.
Человек колдует,
Человек живет,
Человек настоит на своем!
Зябнет тело,
Но взмах молотка
Отгоняет дыханье простуды,
Сбрасывает рваную жесь,
И новая,
Осеребренная водой,
Смотрит на свободные волны моря.
Новороссийск!
Где найти сегодня ночлег?
Ветер воет над холмами подкошенных стен,
Над холмами дверей и окон.
Женщина ищет дом.
И я ищу дом.

Мне — на одну ночь,
Ей —
Навсегда.
Камень на камень кладем,
Известь мешаем с дождем,
Известь мешаем с золой,
За день выстроим стену на метр,
И я уйду в бой.
Отдыхающие перед атакой
Сделают то же.
Ближе подходит женщина,
Ближе, —
Так теплой.
И снова
Камень на камень
Гасит квадраты рассветной тьмы,
Мокрая зола брызжет в лицо женщины,
Вязнет в моих зубах.
Но настойчив рассвет.
Идет рассвет.
Человек колдует.
Человек живет,
Человек настоит на своем!
Кровельщик,
Первый кровельщик над Новороссийском!

1944

НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ СВИДАНИЕ

Я хотел привести тебя к маме,
К маме моей, с перебоями в сердце,
К маме моей, с большими кругами
Под глазами
И обвязанной до бровей мокрым полотенцем.

Я хотел, чтобы прямо из школы,
С наспех прилаженным беретом,
Ты пришла к ней стрекотухой веселой,
С расплавленным по лицу светом.

О, как ей нужна скороговорка-девчонка,
Такая, как ты, с большими глазами,
С певучим горлом, с растрепанной челкой
И размахивающая руками.

Я хотел привести тебя к маме моей,
К маме, глядящей из-под мокрого полотенца
На фотографию брата,
Старшего из сыновей,
Повешенного в Чигирине немцами.

Ну что тебе стоило забежать, затараторить,
Ну, просто обратить
На себя внимание!
Одного уже не было,
Второй был на фронте,
И я уходил добровольцем
И боялся, чтоб мать не узнала заранее.

Владимир Корнилов

УТРО

Полшестого...
Бормочет дождик.
Дождь неспешный, непроливной...
Переводит,
 как переводчик,
Слог небесный
 на слог земной.

Я глаза на него поднимаю,
Я спросонья внимаю ему
И такое сейчас понимаю,
Что потом никогда не пойму.

Что-то ясное,
Проще простого,
Понимается разом,
 шутя,
И пугает домашность простора
И дурашливый шепот дождя.

Тучи темные соснами пахнут,
В полумраке совсем не темно,
Словно весь я
 от ветра распахнут,
Как с плохим шпингалетом окно.

Это кончится через минуту,
И тогда —
 с этим лучшим из чувств

Распрощусь,
 и его позабуду,
И к нему никогда не вернусь.

Будет дождик —
Всего только дождик,
И туман будет просто
Туман,
И простор,
 словно голый подстрочник,
Будет требовать рифм и румян.

И начнутся пустые мытарства,
Жажда точности,
 той, что слепа,
Где ни воздуха
 и ни пространства,
Только вбитые в строчку слова.

Но покамест,
На это мгновение,
Показавшись в открытом окне,
Мирозданье,
Как замкнутый гений,
По случайности вверилось мне.

Нету в нем ни печали, ни гнева,
И с девятого
 этажа
На согласие асфальта и неба
Не нарадуется душа.

Николай Котенко

ДИАЛОГ ОПТИМИСТА И ПЕССИМИСТА

— Пессимистам легко...
Что такое — крушение иллюзий?
Уповая на дьявола, видишь ли святость икон?
Ни к чему пессимистам ни огонь, ни озон революций...
Нет, должно быть, и вправду этим людям живется легко...

— Сколько было икон, сколько было божественных женщин,—
Как безжалостно время лишало их нимбов и риз!
Отчего же в тебе до сих пор — никакого движенья,
Отчего он незыблем, твой телячий, слепой оптимизм?

— Пессимистам легко...
Ведь они никогда не теряют,—
Разве могут кастраты утратить способность любить?
Не стремясь в высоту, убоишься ль падения вниз?..
Потому — самый дерзкий и самый смешной оптимизм:
Называть пессимистов страдальцами и бунтарями
И искать среди них протестантов и самоубийц.

Валентина Краснобаева

РОЖДЕНИЕ ВЕКА

Брела Россия — рубище в заплатах,
Как мать больная, грезила в мечте.
Рождался век, расстрелянный, распятый
На милосердном боговом кресте.

Глаза открыл недоброю порою.
И, оглушенный звоном кандалов,
Свой первый шаг из лапотног строя
Век сделал против поднятых стволов.

Они свинцом в лицо ему плевали,
Чтоб он своих соратников терял.
Младенец сердце выплавлял из стали
И в пламени пожаров закалял.

Век наливался тяжестью свинцовой.
Век набирался мужества и сил
Семнадцать лет.

Взрослеющий, суровый,
Навстречу революции спешил.

До той поры осмысливая веру,
Открытый только будущей мечте,
Все сразу отдал ей, без всякой меры,
И рядом встал на роковой черте.

В ее груди гудело сердце века,
В ее рассветах шло его литье.
Увидел век рожденье человека,
А с ним — перерождение свое.

КАНОНАДА

Какая канонада!
Бушует аварийная бригада!
Как будто орудийный гром,
гремит, разваливаясь, дом!
Прямое попаданье —
в зданье.
Стена —
сметена!
Карниз —
вниз.
Кирпичи фундамента —
замертво.
Дымится пекло боя,
а небо голубое.

НОВЫЙ ДОМ

Получили ордера:
Грянем русское «ура»!
Перекрашиваем двери:
— Где белила брали?
— В «Эре»! —
Потолки обижены:
— А мы за что принижены? —
Заговорили краны,
как мембраны.
Газовая плитка —
белая улитка.
Суета на лестнице —
втаскивают креслице.
Раздвигаются портьеры,
Начинаются премьеры.
Окна во всю стену,
как на сцену.
Мы выходим на балкон:
нашей улице поклон.

Юрий Кублановский

* * *

О, только бы не умереть,
а жить и жить как можно дольше!
Как можно больше душ согреть
и чувствовать как можно тоньше.

О, только б не увидеть там,
где рос цветок, огонь зарницы.
О, только б не отдать цветам
густую пашню для пшеницы.

О, только б птицу не убить,
а как она — освободиться.
О, только бы не разлюбить
или в другую не влюбиться.

АПРЕЛЬ

Дед на лесенке стоит,
подрезает ветви груши,
и лицо его таит
след небес, где судят души.

В бороде его седой
ветер выпрямил колечки,
и весеннею водой
ручейки шумят и речки.

Две садовые межи
вдаль бегут, и на мгновенье
ножниц круглые ножи
ослепили наше зренье.

В стороне лежит ледник,
чернозем родил подснежник.
Сад подстриг один старик,
водрузил другой скворешник.

САДОВОД

Лоб собрав в морщины важные,—
труд в саду весной не мал,—
он граблями листья влажные
в кучу черную сгребал.

Тени облака минутные,
кои ветер раскачал,
и цвета природы смутные
он невольно различал.

Тяжело ожить, опомниться,
в кудри вставить гребешок,
только новой розой полнится
прошлогодний корешок.

И, собравшись с волей, с силами,
чтоб былое с новым слить,
он принес ведро с белилами,
начал яблони белить.

Вадим Кузнецов

СТАРЫЙ ПРИИСК

Заросли отвалы иван-чаем.
Тишина ползет со всех сторон.
Старый прииск
пугливо нас встречает
темными провалами окон.
В рыжий лес,
оскалясь оскорбленно;
убегает рыжая лиса.
Я кричу,
и в избах разоренных
оживают чьи-то голоса.
Оживают,
мечутся по стенам,
словно птицы,
бьются в потолок...

Из тайги
могуче и степенно
приплывает заводской гудок.
Новый прииск
трубит вдали победу,
как любовью опаленный лось.
Мне — туда.
И я сейчас уеду,
но я рад,
что в жизни довелось
постоять у старого порога,
погрустить у старой городьбы,
в первый раз
задумавшись немного
о возможных странностях судьбы...

ДЕКАБРЬ

Невероятное творится!
В Москве в середине декабря
ударил гром,
и по столице
разлились мутные моря.
Взбурлили бешеные воды,
снега замешивая в грязь,
и в этой выходке природы
совсем отсутствовала связь
между дождем
и здравым смыслом,
добром и логикой зла...

На плечи неба
коромыслом
шальная радуга легла.
Круша обычай сезона,
сердца прохожих веселя,

на перекопанных газонах
курилась талая земля.
Наперекор моей тревоге,
что из-за облака текла,
трава вставала у дороги
на зов нежданного тепла.
На тополях дышали почки,
под ярким солнцем округлясь...

Зима ворвалась в город ночью
И снова захватила власть.
А ранним утром стало ясно,
что сомневался я не зря,
что верить
попросту опасно
теплу
в середине декабря...

Валентин Кузнецов

* * *

Этот звон. Этот лес не по мне.
Это все не мое. Не оттуда,
Где я жил. Где стояло в окне
Золотое смолистое чудо.

Здесь чужбиною пахнет цветок.
У меня же на родине дальней:
Василек — словно неба глазок,
Будь он радостным или печальным.

Там у Пьяного лога — ого!
Как брыкучий теленок — подлесок.
Посмотрите хоть раз на него
Сквозь дремучую хмурь занавесок.

Край у вас, я заметил, не прост,
Но с моей стороной не сравнится:
Да у нас, словно в гнездышко дрозд,
Отгулявшее солнце садится.

Там по горло любой синевы:
Полевая — направо. Речная — налево.
Из большой кутерьмовой травы
Можно выпить соломинкой небо!

Вы не думайте. Я не корю
Ваши земли, озера и нивы.
Этот край не по мне, говорю.
Вы же знаете, я незлобивый.

Все мне слышится: русая... Русь...
Все мне видится в лентах трехрядка.
И еще — запряженная в грусть
Довоенного детства лошадка.

Татьяна Кузовлева

* * *

Жара подступала под своды
строения с узким окном.
О двор сорок пятого года —
колодец с асфальтовым дном.

И сыростный выход подвала,
и солнца горячечный взгляд,
лежащий проекцией шалой
на камне —
почти наугад.

И, дети военной эпохи,
несли мы сквозь игры и сны
дворов наших каменных вздохи
на всем протяженье войны.

Несли мы,
бледны и серьезные,
понятие трудное «бой».
Россия сквозь крупные звезды
всходила над нашей судьбой.

Сквозь крупные звезды,
сквозь слезы

и сквозь неосознанность бед
мерещился сладкий и грозный
ее утешительный свет.

И в тесных вселенских отвесах,
в квадратном колодце двора,—
не просто приверженность к детству,
не та временная игра,—

но первый оброненный камень,
но тот — изначальный — исток,
где лед обращается в пламень,
огнем опалая висок.

И вот нарождается жажда
спасти, исцелить и унести
ту землю,
что стала однажды,
а значит — пребудет и есть.

Ту землю, что нам остается
единственной мерой добра
в душе ли,
на дне ли колодца,
за тем ли пределом двора...

* * *

Внутри двора,
где запад и восток
попеременно озарялись алым,—
нетерпеливый топот детских ног,
известием взметенный небывалым.

Вот гул асфальта,
крик издавека,
вот сдавленные толпами ворота.
Вот щель нашли.
Вот уж снаружи кто-то.
Вот к толстым прутьям льнет к щеке
щека.

Вот я тянусь на цыпочках среди
ровесников. И локоть мой неловок.
И с любопытством:
«Что там, впереди?» —
ищу просвет меж стриженных головок.

Там гонят немцев.
Там молчит кольцо
Садовое. Там тишина на лицах.

Там тянется сплошная вереница,
единое усталое лицо.

И серый цвет обмоток, и одежд,
и лиц, припорошенных знойной пылью.
Я помню:
там не люди проходили,
а тени их, лишённые надежд.

Погасшие.
Колонне нет конца.
Уже стоять немогут в воротах.
Уже домой с Садового кольца
зовут людей обычные заботы.

И дома, прикорнувши в тишине,
три разных чувства я припоминаю:
и ту жестокость детскую, пока
за камнем слепо тянется рука;
и радость ту,
что вспыхнула во мне;
и горечь ту, которую скрывая
глядела вслед, не помня о войне.

* * *

Под синим небом белый снег —
и рядом, и окрест.
Февраль, февраль, до темных век
один короткий жест.

Ты вырваться пытался днесь
из снежного кольца.
Февраль, февраль, очнись, я здесь,
у твоего лица.

Сегодня к нам со снежных гор
легко идут слова.
Под ледяное пенье шпор
кружится голова.

Играет солнце на щитах
и на верхушках пик.
И отдаленный звон литавр
к моим ушам приник.

Еще не начаты бои,
еще вблизи весны,

февраль, февраль, полки твои
по-прежнему сильны.

Шепчу тебе:
— Очнись, не стой! —
Прошу тебя:
— Пойдем!
Ты прав во всем пусть не на сто —
на двадцать восемь дён.

Не дай себе застыть от вьюг,
безвременно скорбя.
Февраль, февраль, из смуглых рук
не выпущу тебя.

Ты станешь воином допрежь
того, как канешь в сны.
И я возглавлю твой мятеж
в тылу самой Весны.

Всего один короткий жест
взметну я над тобой.
Февраль, чем тяжелее крест,
тем радостнее бой!

* * *

Безбожница,
заброшу все дела.
Бегу забот,— ах как они постыли!
Скорее в путь, покуда не остыли
два эти вороненные крыла.

Пока еще сквозь стены в темноте
луч ощущаю, дребезжащий тонко,
пока еще в объятиях ребенка
я помню об оставленном листе.

Пока еще преграда на пути
преодолима — только взмах десницы.
Мой крик, мой хрип, последнее «пусти»,
пред тем как задохнуться и разбиться.

Пусти, пусти меня, освободи
от обещаний, от забот, от дрожи,

от тяжести любви,— того гляди
я упаду от непосильной ноши.

Безумная,
не чувствуя руки,
смогу ли я крылом коснуться света?
Быть может, в этом истинность поэта:
жить не благодаря, а вопреки.

Взлетать с земли — и радостен полет,
и неизбежно чувствовать в паренье
запретное твое прикосновенье.
Когда-нибудь оно меня сожжет.
Я упаду у розового льда,
как мальчик, не нарушивший присяги,
и сердце разорвется,
и тогда
строка неровно соскользнет к бумаге.

Станислав Куняев

* * *

Все не высказать, всех не обнять,
потому что я понял отныне:
чтоб чужих и неблизких понять,
надо сделать далеких родными.
Но как будто мы любим родных!
Впрочем, любим, но странной любовью:
болен ею лишь тот, кто приник
в час прощанья хоть раз к изголовью.
Что любил? Бормотанье реки,
уходящего времени вздохи,
приближенье привычной тоски,
да касание милой руки,
да какие-то вечные строки.
Все? Едва ли. Склоняясь ко сну,
глядя пристально в небо ночное,
вспомню все, что ушло в глубину...
И пускай остается в покое.

* * *

Я рад, что тело на краю земли
все испытанья выдержало с честью.
Укрепили ноги, руки обросли
какой-то золотистой шерстью.
Время почувствую беду,
вздох одолею и отпряну в страхе,
а где-то где-то кожу обдеру,
все заживает, словно на собаке.
Я научился засыпать в седле,
рассчитывать опасное движенье,
не торопясь угадывать во мгле
ведущее к ночлегу направление.

Как изменилось тело! Но душа
не может быть иной, хоть лезь из кожи.
Она, во власти суеверной дрожи,
в ночной простор глядит, едва дыша.
Не замечая быстротечных дней,
она живет иными временами,
и будущее властвует над ней,
и прошлое преследует тенями.
Нет-нет услышу: с милыми людьми
(на что ей эти реки, эти горы!)
она ведет немые разговоры,
глядит в слезах в родимые просторы,
в другие ночи и другие дни.

* * *

Я, как в юности, снова приду
постоять над высоким обрывом,
помолчать на осеннем ветру...
Слава богу, в каком-то году
в некий час я родился счастливым!

Сколько лет, сколько зим, боже мой!
Но все так же чернеет ограда,
так же стелется бор вековой,
и всё так же шумят надо мной
липы Загородного сада.

Николай Леонтьев

*

В мире — вёсны, горы, пади,
Звезды, сполохи, цветы...
От времен пещерных жаден
Человек до красоты.

*

Куда ни кинут люди взгляд,—
Светлей живется,
Легче дышится:
Луга лежат,
Леса стоят,
Снега летят,
Моря колышутся.

*

Земля нам становится тесной.
Все чаще в надзвездную высь,
В бескрайние темные бездны
Глядит любопытная мысль.

*

Пусть рассветы ночь не любит,
День пробьет свою тропу:
Небо зорюшка проклюнет,
Будто птенчик скорлупу.

*

Шаманят сполохи в ночи,
Собой весь мир наполним.
Смотри. Любуйся. И молчи.
И ту красу запомни.

*

Сродни мне могучий
Полярный Урал:
Я тучи
На кручах
Плечом подпирал.

ИЗ КНИГИ «КИНЕМАТОГРАФ»

ВОСПОМИНАНЬЕ О ДОРОГЕ

Дорога была минирована,
но мы это поняли
слишком поздно,
и уже не имело смысла
возвращаться обратно,
и мы решили идти
дальше,
на расстоянии друг от друга,
я впереди,
он сзади,
а потом менялись местами.
Мы ступали осторожно,
кое-где
мины
выглядывали из-под снега,
темные коробочки,
припорошенные снегом,
такие безобидные с виду.
Мы ступали осторожно,
след в след,
мы вспотели,
хотя мороз был что надо,
и сердце замирало,
останавливалось
и начинало стучать не прежде,
чем нога опиралась на твердое,
и тогда стучало в висках,
и вновь замирало
перед следующим шагом.
Потом повалил снег,
потом слышались взрывы
и крик —
ложись! так вашу так! —
а дальше,
дальше ничего не помню,
только дорога,
и сердце замирает,
и останавливается,
и начинает стучать не прежде,
чем нога обопрется на твердое,
и снова стучит в висках,
и вновь замирает
перед следующим шагом.

Музыка, свет не ближний,
дождь, на воде круги.
Музыка, третий лишний,
что же ты, ну, беги!

Выдохлась? Притомилась?
Хочешь не хочешь — пой?
Музыка, сделай милость,
очередь за тобой.

С каждой перебежкой —
дождь, на воде круги.
Музыка, ну, не мешкай,
музыка, ну, беги!

Не дожидаясь зова,
не выбирая дня,
круг обег и снова
встань впереди меня.

Да не сочтем за муку
этот, из века в век,

по роковому кругу
завороженный бег.

Этот смиренный пафос
и молчаливый зов
перемещенья пауз,
звуков и голосов.

Это чередованье
флейты и бубенца.
Это очарованье
дудочки и скворца.

Это — сплетенье вьюги
с песенкою дрозда.
Это — синицей в руки
выпавшая звезда.

Это — звезда и полночь,
дождь, на воде круги.
Этот призыв на помощь —
музыка, помоги!

ВОСПОМИНАНЬЕ О МАРУСЕ

Маруся рано будила меня,
поцелуями покрывала,
и я просыпался на ранней заре
от Марусиных поцелуев.
Из сада заглядывала в окно
яблонева ветка,
и яблоко можно было сорвать,
едва протянув руку.
Мы срывали влажный зеленый плод,
надкусывали и бросали —
были августовские плоды
терпки и горьковаты.
Но не было времени у нас, чтобы ждать,
когда они совсем поспеют,
и грустно вспыхивали вдалеке
лейтенантские мои звезды.
А яблоки поспевали потом,
осыпались, падали наземь,
и тихо по саду она брела
мимо плодов червонных.
Я уже не помню ее лица,
не вспомню, как ни стараюсь.
Только вкус поцелуев на ранней заре,
вкус несозревших яблок.

Марк Лисянский

СЕМЬЯ

На странице газеты «Правда»
Я увидел, как будто впервые,
На восьми фотографиях равных
Всю ульяновскую семью.

Фотографии эти знакомы
И без подписей всем известны,
Я их видел, конечно, раньше,
В окантовке да под стеклом.

Я их видел не раз в музеях,
На художественных открытках,
Видел в книгах воспоминаний,
Но не рядом, не вместе — врозь.

А семья — это значит рядом,
А семья — это значит вместе.
В прежней жизни так они были,
Так и надо им быть сейчас.

Правда, снимок один семейный
Сделал лучший симбирский
фотограф:
Снят инспектор народных училищ
В безмятежном кругу семьи.

Снимок сделан себе на память,
Для детей, для родных и близких.

Там Володе всего лишь девять,
Саше только тринадцать лет.

А теперь на газетной странице
Три товарища — три побратима,
Три сестры, словно три подруги,
Рядом с матерью и отцом.

А теперь на одной странице
Восемь веток зеленого древа,
Восемь дальних дорог скрестились,
Восемь жизней — плечом к плечу!

Что хотели они?
Хотели,
Чтоб под общею звездною крышей
На планете обетованной
Люди жили одной семьей.

Вот как славно у нас в России,
Продолжая путь поколений,
Защищают отважные дети
Благородное дело отцов!

Я смотрю, как будто впервые,
На открытые эти лица,
И за мной повторяет эхо:
— Ах, какая была семья!

Я ПРИЕЗЖАЮ В ГОРОД НИКОЛАЕВ

Я приезжаю в город Николаев,
Один иду по улице Сенной.
Со мною шум акаций,
Звон трамваев,
Но молодости нет уже со мной.
Ах, жизнь, твои пути необратимы,
Но нам они и в смертный час видны.
Я приезжаю к другу-побратиму,
Он не вернулся до сих пор с войны.

Я приезжаю в собственное детство,
Которого по всем приметам нет,
Я приезжаю в милое соседство
Девчонки, чей давно затерян след.
Как медлит поезд пассажирский,
Скорый!
Как устарели нынче поезда!..
Я приезжаю к матери, которой
Нет и не будет больше никогда.
И все-таки я еду, еду, еду,
И все-таки спешу, спешу, спешу
По вечно зеленеющему следу —
Пока живу,
Пока дышу!

АКАЦИЯ

Акация!
Весь Николаев
Тобой пропах,
И светлыми улицы стали,
Тобой озаренные.
Сияют деревья
Под кипенью белых папах,
Помолодевшие,
В город весенний
Влюбленные.

Вдыхаю
Бесценный и редкостный
Этот букет
И медленно пью
Твои слезы,
Чуть-чуть горьковатые.
И снова мне
Десять, двенадцать,
Четырнадцать лет...
Ах, годы!
Они предо мной —
Без вины виноватые.

Забыты давно
И свои и чужие грехи,
Но в памяти нашей

То время навечно останется,
Когда из акаций
Мы делали в мае духи
И в сентябре их дарили
Девчонкам-избранницам.

Иду сквозь деревья
Под радугой майского дня,
Вся в белом Сенная,
Родная до камешка
Улица.
Вот и акация,
Которая помнит меня
И которая мной
Никогда и нигде
Не забудется.

Прощаемся с маем,
Встречаем с тобою июнь,
Акация,
Ты — моя спутница
Самая лучшая,
Белая, белая,
Как метель
И как лунь,
И такая цветущая,
И такая колючая...

ПТИЦЫ ПОЮТ

Душа не есть нутро,
А рев и рык — не слово.
А слово есть добро —
И слова нет у злого.

Но если предаем
Себя любви и муке,
Становятся добром
Неведомые звуки.

Так в роще, где с утра
Сумерничают ели,
Запели вдруг вчера
Две птицы. Как запели!

Им не даны слова,
Не так они певучи —
Два слабых существа,
Что ясностью созвучий

Сквозь утренний туман
Всю душу мне пронзили.
И первый мой обман,
И первых строк бессилье,

И то, чем стала ты,
Мой свет, судьба и горе.
И жажда правоты —
С самим собой в раздоре.

РАЗМЫШЛЕНИЯ В СПЛИТЕ

Печальны одичавшие сливы,
А пальмы, как паломники, безмолвны,
И медленно свои взметают волны
Далмации корсарские заливы.

В проулочках — дыханье океана,
Туристок долгоногих мини-юбки,
И реют благовещенья голубки
Над мавзолеем Диоклетиана.

Но так же, как на площади старинной,
Видны и в небе связи временные,
И спутников мы слышим позывные
Сквозь воркованье стаи голубиной.

Давно ли в памяти живет совместность
Костра — с открытьем, с подвигом —
расстрела,
С немудрою лисой — лозы незрелой?
Давно ль со словом бьется бессловесность?

Давно ли римлянин грустил державно?
Давно ль пришли авары и хорваты?
Мы поняли, — и опытом богаты,
И горечью, — что родились недавно.

Мы чудно молоды и простодушны:
Хотя былого страсти много значат, —
День человечества едва лишь начат,
А впереди синееет путь воздушный.

Майя Луговская

КОМСОМОЛЬЦУ ДВАДЦАТЫХ ГОДОВ

Мой любимый и старший мой брат,
Ты беднее меня был в сто крат.

Ничего — ни кола ни двора.
Беспризорная детвора.
Неотстроенные города.
Пятилеток жестких года.
Только сила великих идей.
Только гвардия верных друзей.

Запеленатый в красный плакат,
Как же был ты безмерно богат!

В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ ¹

*Памяти матери моей
Елены Казимировны Быковой*

От Нижнего парка до Верхнего парка
В залатанных валенках становится жарко.
Ребенок не неженный, но ни разу не поротый,
Я пробираюсь заснеженным городом.

Домой пробираюсь по бывшей Дворянской
В курточке грубой, почти что солдатской.
Жена комиссара, соседка Эльвира
Из старой шинели ее мастерила.
Из жесткой шинели, отцовской шинели,
Латышка Эльвира.

Я помню, по-бабьи она голосила,
Как будто про все на свете забыла,
Латышка Эльвира.
А комиссар ей сказал очень медленно:
— Станет Дворянская улицей Ленина.—

¹ В конце XVII века Петр I построил в Липецке оружейный завод, открыл минеральные воды, выстроил себе дворец.

Она улыбнулась: — Дочка Элэнина
Сегодня впервые узнала про Ленина.—
И снова заплакала, запричитала
Латышка Эльвира.
И мать моя снова ее утешала,
Латышку Эльвиру:
— Плакать не надо, жизнь быстротечна,
А смерть не преграда для подвига вечного.—
С тех пор я запомнила слов этих силу
И слезы невыплаканными гордо носила.

Город, отмеченный вниманьем петровским,
Мне помнится вечно шинелью отцовской.
В залатанных валенках, дочкой Елениной,
Я пробираюсь улицей Ленина.

САЯНЫ

Хищный Саян, как зубы акулы,
Черные тучи совсем затанули.
Солнце кровит, ускользя до дна
Рыбой, сорвавшейся с гарпуна.
Все перекручено, все переверчено,
Небо землю совсем перечерчено...
А утром рассыпались облака,
И засияли Саяны.
Горных потоков песнь широка —
Растянутые баяны.
В шапках парчовых стоят гольцы,
Как подбоченившиеся удалцы,
На удивленье народу
Готовые к хороводу,
Путая землю и воду.

* * *

Разотри багульник на ладони — подыши.
От тайги, как от погони, не спеши.
Не уйти тебе из окруженья
Лиственниц, кустарников и трав.
Решено твое разоруженье —
Ты лишилась прав.
Разве ты не знала, что в Сибири
Парни хороши?
Разве ты не знала, что в Сибири
Любят от души?
А кругом цветенье,

Мхи и ароматы.
Почему смятенье?
Ты не виновата.
Просто ты в плену у наважденья
Сказочных красот —
У стремительнейшего теченья,
У недвижнейших высот.
У тебя глазницы, как провал озерный,
Будто на иконе.
Богородицей Илимской чудотворной
Ты сидишь на троне.

Михаил Луконин

СЛОВО ДРУГУ

Абдильде Тажигаеву

Косились синеглазые быки,
ярмо набило вытертые выи.
Вдали столбы крутились вихревые.
Обозы шли и шли.
Передовые
оглядывали степь из-под руки.

Тоска сжимала русские сердца.
Степь жаркая парит перед глазами.
Но в путь —

во имя Сына и Отца —
царица погнала из-под Рязани.
Эльтон и Баскунчак влекли сюда,
возили соль соленую, как слезы.
Но перехватывала орда
все соляные русские обозы.

И двинулись заслоны.
Стой!
Пора!..
Легли быки, усталые до дрожи.
Так начались Быковы Хутора,
так начиналось русское Заволжье.

Распутали с рогов налыгачи,
ярменные выдерживали спицы.
Быки жуют.
А на возах в ночи
под звездами далекими не спится.
Так оседали русские посты
и шли казахи к Волге, к водопою.
Так встретились когда-то
я и ты —
в крови далеких предков —
мы с тобою.

* * *

Да, если только вспомнить, Абдильда,
товарищ мой,
и спеть
про все, что было,
как шли степные долгие года,
и сколько бед,
и сколько страхов смыло!

Давай пойдем вдвоем
своей страной,
с той битвы, что в сказаниях воспета,
с тех лет,
что начинали век иной,
наш век в разливе ленинского света.

Вся наша жизнь уместится как раз
меж вехами великих одолений,
от первых комсомольских поколений,
от первых тропок на Кара-Богаз.

Неведомый пришелец — бедный орс,
таинственный казах широколицый,
открылись
среди бед
и среди гроз,
чтоб хлебом, болью, солью

поделиться.
Единым устремлением дыша,
мы шли друг к другу
как народ к народу, —
от геологоразведок Балхаша
к его медеплавильному восходу!
Да только что железо,
что там медь,
а сплав сердец!
Стеной своей живою
панфиловцы преодолели смерть
в бессмертном сорок первом
под Москвою.

Мы слышим позывные по утрам
и думаем о них:
путем неблизким
над Байконуром
к звездам и мирам
их вечной славы
взмыли обелиски.

* * *

Нам есть о чем себе сказать,
о многом
и вспомним и споем мы, Абдильда.

«КАРАУРМАН»¹

Вдруг да вспомнюсь
себе
я далеким-далеким — из детства.
Завороженным
песней пронзительной
«Караурман».
Это кто мне оставил
такое большое наследство,
Гениальную песню
и тысячи болей и ран?
Это кто же
обнял мальчугана
могуче и крепко,
Поселил в его сердце
трагический голос и лад?
О, какие же песни вы пели,
прекрасные предки,
На конях пробираясь
сквозь жизнь,
как сквозь бор,
наугад!
Никаких компромиссов
кому-то, чему-то в угоду,
Никаких легкомысленных слов,
никаких «труля-ля»...
Слишком дорого
все доставалось
в той жизни
народу.
И была она слишком
трагичною,
эта земля.
Это жизни трагизм
порождал
ту пронзительность
песен.
Что и нынче
морозом по коже,
как крик — из веков.
Изменились
и жизнь
и народы,
и мир нам не тесен,
И не ранены насмерть
отчаяньем
души певцов.
Оставайтесь,
трагедии наши,
в забытых столетях!
Далеко мы ушли
от печальных и горьких годин.

¹ «Караурман» — «Темный бор» (татарская старинная народная песня).

Далеко я сегодня
 от песен трагических этих —
 Я от них ухожу,
 ухожу далеко,
 не один.
 Я согласен —
 пусть будут
 не так потрясающи
 песни.
 Только б жизнь
 никогда
 не вернулась
 к трагедиям тем.
 Пусть
 народ мой поет эти песни —
 хоть — в жизни,
 хоть — в пьесе,
 Но — поет,
 оставаясь счастливым вполне
 между тем.

Сергей Марков

ДЕВИЧЬЯ ГРУДЬ

Кто был у Девичьей груди?
 Такая есть гора!
 ...Огонь и солнце впереди
 И степь из серебра.

Меж двух сияющих холмов —
 Как я заметить смог —
 Под ожерельем валунов
 Лежит отдельный лог.

Мы ради сказочных вершин
 Прервали долгий путь.
 Выходим молча из машин.
 Тепла земная грудь.

Нам показалось: нет конца
 Великой тишине,
 И два коралловых венца
 Пронзили сердце мне...

Мы возвращаемся назад,
 И кружатся в ночи
 Над городом Семи Палат
 Песчаные смерчи.

В далекий край возврата нет.
 Заметены пути —
 Туда, где розовеет свет
 На Девичьей груди.

БАЛЛАДА О ГОСТИНИЦЕ «СЕЛЕКТ»

Не мудрено найти скелет
В гостинице «Селект»...

Вглядись в экран прошедших лет!

В «Селект» вошел субъект.

На нем пиджак из чесучи
И темный котелок.
Собрал вокруг себя лучи
Увесистый брелок.

Манишка, и небрежный бант,
И запонки «Презент»...
Любитель скачек? Коммерсант?
Иль страховой агент?

Его не встретят здесь почет,
Услужливость и лесть.
Охрана дома отдает
Одним военным честь.

Ползет среди бетонных плит
Уродливая тень,
И под ногой его гремит
Железная ступень.

Подвал просторен и глубок.
В укромном месте гость
Снимает черный котелок
И ставит в угол трость.

Неумолим, где нужно — нем,
В чужой крови скользя,
Он долго будет занят тем,
О чем сказать нельзя.

Он вспомнил вдруг, прервав допрос,
Что позабыл в пальто
Коробку крепких папирос —
Изделья Лопато.

Но он не встал и не рискнул
Покинуть свой приют,
Пока не сменят караул;
Не ровен час — побьют!

Пинок, а иногда приклад
Он получать привык...
Солдат, каков ни есть, — солдат,
А не палач и шпик!

Его пускали лишь с трудом,
С брезгливостью мужчин,
В ночной шантан, в позорный дом,
Где девки пьют ханшин.

В туманной глубине зеркал,
Когда сидел один,
Свое подобье он искал,
Позор своих седин.

В объятьях дюжих вышибал
Рычал и бился он,
Кричал: «Я — Гелиогабал,
А может быть — Нерон!»

Чем кончил он, куда унес
Свой черный котелок,
Венец Венеры, и склероз,
И лодзинский брелок?

Как призрак канул в гаолян,
На роковой черте.

...В те годы Черный атаман
Свирепствовал в Чите.

И атаман, борясь за власть,
В гостинице «Селект»
Устроил Следственную часть,
И в ней служил субъект.

БОГОРОДИЦА СНАЙПЕРОВ

Перекрашена коса.
Кто, скажите мне, она?
Соломбальская краса?
Самоедская княжна?

За крутой изгиб бедра
Да за русую косу
Полюбили снайперá
Соломбальскую красу.

Старый практик и мудрец,
Прощелыгам не в пример,
Богородицын отец —
Корабельный инженер.

* * *

...Поражая бедный слух,
Широко раскрывши рот,
Первый снайпер, как петух,
Голосисто пропоет.

Богородицын герой,
Озорной, — он вечно юн...
Это первый. А второй —
И заика, и хвостун.

В окнах снежно и темно.
Спой скорей, стрелок. С тобой
Пьют багровое вино
И поэт, и зверобой.

В стороне храпит пилот,
Завалившись на диван;
Видит светлый самолет,
Льды, тюленей и туман.

Снайпер крутит граммофон,
Ест соленый огурец,
По тебе вздыхает он,
Богородица сердец!

Штормы движутся с морей,
Пробиваясь сквозь туман,
И стучится у дверей
Загулявший партизан.

«Дайте мне, друзья, вина,
Жизнь сегодня не мила,
Непокорная жена
Партизана извела!»

За окошком снег и мгла...
И, с трудом ища кровать,
Наш заика из угла
Что-то силится сказать.

«Ох, уж наша богородица!
Где-то с кем-то хороводится!»

Поглядев вино на свет,
Съев десятый бутерброд,
Вороненый пистолет
Снайпер с хохотом берет.

* * *

Успокоился боец,
Грудью лег на шаткий стол.
...Богородицын отец
Чинит ветхий ледокол.

В доке шум стоит с утра,
И, осматривая ют,
Молодые мастера
Песни новые поют.

Богородица! Винить
Твоего нельзя отца
В том, что некому чинить
Нам разбитые сердца.

Это делать не легко —
Никогда не позабудь!
Легче старому «Садко»
Заклепать стальную грудь.

Богородица! Я нем,
Нет в стихах моих огня,
Для писания поэм
Нет досуга у меня.

Затерялся мой талант
Меж докучливых забот,
Как меж угольных шаланд
Побывавший в бурях бот.

Мне сегодня нездоровится,
Дорогая богородица!

* * *

Жизни спутанная нить,
Выпрямляйся, как струна.
И зачем сегодня нить
За бутылками вина!

Все приходит в свой черед.
Ведь таков закон земли,
Что из рук своих пилот
Тоже выпустит рули...

Но, клянусь мезенским мхом,
Мир устроен для побед!
Я запел бы петухом,
Встретив северный рассвет.

Богородица пришла!
Распахнула двери вдруг.
Вся в снегу, сама бела,
Встала в наш шумящий круг.

Расцветает ясный день,
Словно тундровый цветок.
— Бей без промаха в мишень! —
Поучает нас стрелок.

Алексей Марков

* * *

— Все цветы — мои, мои!
Солнышко мое, мое! —
Оборванец-сирота
В голубой степи поет.

— Васильки мои, мои,
И ромашки на лугу,
Колокольчики мои!
Облака обнять могу...

— Жаворонки все мои,
Все жуки — мои, мои!
И мои тюльпаны все
В необсохнувшей росе!

И гречиха вся моя,
Бабочки и пчелок рой! —
Мальчик носится в степи
С этой песенкой смешной.

4

Да, скуп был Вальс. Трудился день и ночь.
Ворчал он, брови рыжие нахмурив:
— Сын Сашка — пьяница. Но Марью, дочь,
Послал учиться в Дерпт я, в Тарту,
в Юрьев! —

Такой хороший дал ему совет
Не кто-нибудь, а мудрый пастор Грэнэ,
Для треб и назидательных бесед
Приход свой объезжавший в шарабане.
Я помню скрип распахнутых ворот,
И Вальсиха шла пастору навстречу,
И отвечал он, пухл и безбород,
На речь певучую певучей речью.
И многие я видел чудеса
С той крыши, точно с башни вавилонской,
И разные звучали голоса —
И русский, и казахский, и эстонский,
И прочие... Была передо мной,
Как вспоминаю явственно теперь я,
Вся, перед первой мировой войной
Притихшая, Российская имперья.

5

И вот такой однажды час настал,
Гроза такая потрясла затишье,
Что даже Вальс однажды перестал
Чинить заборы, краской мазать крыши.
И сам чердак с его уютной тьмой,
Куда сиянье лунное сочилось,
Стал частью Революции самой.
Я расскажу вам, как это случилось.

Тот человек пришел, спросил отца.
В сенях, окутанных морозным паром,
Возникли острые черты лица.
Его узнал я. Был он комиссаром.
С какой он стати к нам пришел? А так...
Тут не было партийной связи или
Родства, знакомства близкого... Колчак
Его преследовал, а мы — укрыли.
Я путь и открывал и прикрывал,
Была лазейка хорошо знакома —
Через амбар и через сеновал
Туда, под крышу вальсовского дома,
Где трубы дымохода, горячи,
Дышали кирпичом, не остывая,
Над комнатой, в которой спал в ночи
Вальс, ничего и не подозревая.
А ведь, услышав, мог поднять и крик.
Но доносить едва ли бы поперся:
Ведь как-никак, а все-таки отстриг
Он хвост коню барона Пистолькорса.

6

А впрочем,
Вальс не принял Октября.
Лишившись и доходов и покоя,
Бранился, власть советскую коря:
— О, сатана перекле! Что такое! —
Но обеспечил ленинский декрет
Ему возврат до Ревеля родного.
И там, почти восьмидесяти лет,
Вальс, говорят, дома построил снова.

Алла Мелеткина

* * *

Мороз упал, снега поблекли.
Вновь торжествующий апрель
Стучит в забрезжившие стекла
И гонит к берегу артель.
А там в грохочущей долине
Пыхтят с уловом лагеря,
И под винтом дробятся льдины,
И низвергается заря.
И ты в соленых сапожищах
При шлеме, словно часовой,
Среди «низалок» взглядом ищешь
Мой плащ, покрытый чешуей.
Катают бочки. Гомон. Свисты.
И свежей килькой серебристой
Кишит конвейерный поток —
Как с ивы за листком листок.

Новелла Матвеева

ПОЭТ

Поэт, который тих, пока дела вершатся,
Но громок после дел,— не знает, как смешон.
Поэт не отражать, а столь же — отражаться,
Не факты воспевать, а действовать пришел.

В хвосте Истории ему не место жаться!
(По закругленьи дел — кого ожжет глагол?)
Он призван бить в набат и громом раздражаться:
Он двигатель идей, он — основатель школ!

Что значит «отразил»? — скажите, бога ради!
Поэт не озеро в кувшинковых заплатках:
Он — боль и ненависть, надежда и прогноз...

И человечество с поэтом на запятках
Подобно армии со знаменосцем сзади
И с барабанщиком, отправленным в обоз.

НАЧАЛО НОЧИ

У тропки вечерней
Сиренево-серный
И серо-лиловый оттенок.
И, словно орех,
Который, созрев,
Отходит от собственных стенок,
Отходит луна от небес волокна,
От облачка, полного сока,
И к легкому своду уходит она
Отколото, одиноко...

Деревьев цыганские тени
Кудрями дорогу метут...
Вдали, в стороне, в запустеньи
Дымится и светится пруд,
Как сонный пламень, сощуренный тупо
В трубке, потухшей наполовину,
Попав под рукав, под сырую овчину
Тулупа...

Оттуда, из сырости грустной,
В лесок сухокудрый летит, кувыркаясь, сова:
Крыла ее — шустро-грузные
Порхающие жернова.
Летит она прозорливо и слепо,
Движением тяжким и скорым, как шок;
Летит клочковато,
Летит нелепо,
Летит, как зашитая в серый мешок
С косыми прорезями для глаз...

Как пляска ладьи, утратившей руль и компас,
В воздухе свежем танец ее корявый...
Прочь, абсурдная, прочь!

За черной, как пропасть, канавой
Стеклобно блистают кусты, как сосуды с целебным
Настоем.
Это вступление в ночь...

Ночь.
Как столбики и как дуги,
Над теплым,
Над сиротливым простором
Стоят неподвижные звуки...

Александр Межиров

* * *

Не предначертано заране,
Какой из двух земных путей
Тебе покажется святей,
Определив свое избранье.

Ты можешь властвовать всецело,
А можешь в жертву принести
Всю жизнь — от слова и до дела...
И нету третьего пути.

ПОСЛЕСЛОВЬЕ

Издревле всяк при деле: этот строит,
Тот разрушает — каждому свое.
А наше дело ни гроша не стоит:
Водить пером, записывать — и все.

Пока мы занимались этим делом,
Сорвался мотогонщик со стены
И о манеж ударился всем телом,—
Его минуты были сочтены.

Покамест мы баллады сочиняли
О том, как на стене, по вертикали,
Выводит мотогонщица зигзаг,
Она, устав от стрекота и шума,
Родной манеж покинула угрюмо
У публики случайной на глазах.

На тормозах, в слезах, по треку съехав,
Устало отстранилась от успехов

И, утирая слезы рукавом,
От всех, кто так любил ее когда-то,
Укрылась в уцелевшем от Арбата
Одноэтажном доме угловом.

Уединилась в цоколе неярком,
Поклонникам своим и сотоваркам
Отказывая резко в рандеву.

От всех, кого любила-ревновала,
Забилась в полутьму полуподвала,
Никак не откликаясь на ау.

Итак, моя и ваша героиня,
Превозмогая приступы унынья,
По цокольному ходит этажу.
Ну а о том, что происходит с теми,
Кто посвящал баллады этой теме,—
Об этом я ни слова не скажу.

Генриэтта Миловидова

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ И КЛАРА ЦЕТКИН

За окном оголенные ветки.
Осень двадцатого года.
К товарищу Кларе Цеткин
зашел Ильич мимоходом.
На огонек...

Из-под бывших царских портьер,
где в настенных тарелях
когтистые лапы
вцепил двуглавый романовский герб,
струился свет настольной лампы.

Клара Цеткин не спит.

Не по-старчески держится прямо.
Чуть с желтоватым отливом седьны.
Подбородок ее волевой и упрямый.
Лоб высокий стягивают морщины.
А в глазах — материнская доброта.
Особая. Доброта революционера.
«К пролетаркам мира!» —

обращение рвется с листа,
с царского
(недавно еще)
секретера.

Поздоровались радостно, весело.
Ильич тяжело опустился в кресло.
Из-под набрякших от усталости век
глаза его светятся
словно отсветом электростанций,
которыми озарится век...
Но надо еще сражаться!..

Осень двадцатого года.
В ветре стремительном, быстром
не тоскующая природа,
а дыхание коммунистов.
Революцией воздух насыщен,
Гражданской войной пропитан,
на Врангеля новые тыщи
посылает Москва и Питер.
Вынув серьгу из ушка,
не для милого дарят дружка,
если есть у кого это золото,
дарят в фонды Серпа и Молота,

нехитрое свое наследство
все отдают, до последнего,
на винтовки и пушки
и делят хлеба осьмушки...

Поник головами герб царства Романовых,
каждый камень в Кремле —
революцией дышит,
поступь
Рабочего Класса
слышит.
Россию
Советы
отстроят заново.

...Выносили кубисты на площадь плакаты,
где люди и лица — литые квадраты
зеленых, лиловых и прочих тонов,
рисующих будто большевиков.

...Иные в модных «теориях» взяли:
свободу любви
(ото всяких расчетов)
подменяли свободой случайных связей.

Нет, не вожди признавали логичным
любовь упразднить из жизни личной,
изгонять из стихов.
Что за претензии
лишать поэзию этим поэзии?

...Искусство без чувства —
разве искусство?..

...Пушкина — с корабля современности?
Совсем не марксизм эти нелепости!

— Дорогая Клара! За всеми «измами»
нам не угнаться, — сказал Ильич, —
то, что порой приписывают марксизму,
часто старая буржуазная дичь.

Хорошо, что в борьбе мы по-прежнему молоды.
Здесь мы — в первых рядах!..
По культуре нельзя с размаху молотом,
но люди растут на глазах.

Завеса (неграмотность!) будет поднята.
Просвещение необходимо.
Искусство должно быть народом понято,
а значит — будет любимо!

* * *

Нет, я не знала чувства зависти,
чужой талант — как озарение.
Он породил во мне лишь завязи,
дарил мне крылья вдохновения.

Всегда реакцией цепной
идут стихи. Друг другом дышат,
и чем талант другого выше,
тем больше он ценился мной.

Сергей Мнацаканян

* * *

На фотоснимке — третий справа —
застыл взволнованный юнец,
готовый к гибели иль славе,—
он мне — покамест — не отец.
Но он нашел уже призванье
И в ЧОН вступил, врагам назло,—
его сюда из Эривани
каким-то чудом занесло...
А улицы — в метельном танце —
белым-белы, белым-белы,
а мой отец стоит — и пальцы
не оторвать от кобуры!
И — навсегда на этом свете
глухая зимняя тоска
и ветер, старые газеты
листающий, как пропуска...
Их вслух читают перекрестки:
твердят слова передовиц,
а пятеро парней замерзли —
пред объективом собрались.
И никуда уже не деться —
уже впечатались вовек
их дерзость, робкость их и детство
и в этот лист, и в этот снег.

БЕТАНИ

В ту ночь взошло двенадцать лун
Над ослепительной Бетани,
И раздавалось пенье струн,
И ветра слышалось топтанье.

Горы немислимый излом
Напоминал ограды ада,
Когда сидели за столом
Лицом в окно. Текла прохлада

С небес на ветви и с ветвей
На скулы, волосы и плечи,
Питая нежностью своей
И бег кровей, и рокот речи.

Шарманка завелась в саду,
В старинном княжеском поместье.
Когда еще сюда приду
И что найду на этом месте?

Чудесна бытности длина,
Блаженна тяжкая корзина.
А над Бетани ночь темна,
Как рот поющего грузина.

Так в шестьдесят втором году
Виднелся мир однажды летом.
Когда еще сюда приду?
И что найду на месте этом?

Капли падают светлю
На оконное стекло.
Я когда-то дождь любила,
А теперь люблю тепло.

Занавеску зазнобило —
Ситец в клеточку, простой.
Я когда-то дом любила,
А теперь люблю простор.

В дачах стало пустовато.
Раскладушка за стеной.
Было двое нас когда-то,
Выжить выпало одной.

Дымом пахнет сладковато,
Свет, тетрадка, хлеб, вода—
Это было не когда-то,
Это будет навсегда.

ПОБЕГ

Давай, душа, давай —
Проникнем за ограду,
Там розовый трамвай
Бежит по снегопаду.

В кофейне за углом
Поджаривают зерна,
И лестницы излом
Пропах напитоком черным.

Верни, верни, верни,
Звезда, мое светило,
Те считанные дни,
Которых не хватило!

Под шорох мандолин,
Играющих на елке,
Очистим мандарин
И снимем книгу с полки.

В таинственную речь
Вникая до рассвета,
Отбросим кофту с плеч
На озеро паркета,

И, отлучив лицо
От чтенья на мгновенье,
Найдем в конце концов
Покой и просветленье.

Юрий Мельников

* * *

Минуя леса и перроны,
От дальнего рейса устав,
На стыках скрипели вагоны,
Качался товарный состав.

И пели, и грустно шутили,
И спорили мы горячо...
Уже не гражданскими были,
Но и не бойцами еще.

С заводов, со строек и пашен,
Худые, в дорожной пыли,
С собой,

Кроме юности нашей,
Мы вдаль ничего не везли.

И руки замерзшие грели
Над печкой,
и думы свои...
А где-то тревожно гремели
Под самой Москвою бои.

К столице спешила подмога,
Шли танки, орудия шли...
И порохом пахла дорога
От главного боя вдали.

Арво Метс

* * *

Люблю прижаться
к шершавой земле.
Травинки шумят, как дремучие леса.
Бродят путешественники-муравьи.
Давно улетела в небо
последняя капля росы.
Учусь смотреть
глазами земли.

* * *

На тебе играет листва.
Солнечные лучи
перебирают пальцами.
И трогают
разные голоса.
Трепещешь от прикосновений.
А музыку слышат
только мои глаза.

* * *

Тихо уснули сопки.
Росинка отражает
звездный свет.
Темные листья
начинают песню ночи.
Пахнут
будущие грибы.

Лиля Наппельбаум

ЛИЦО

*Памяти М. С. Наппельбаума,
фотографировавшего
Владимира Ильича*

Смольный был стремительней вздоха.
Пулеметы взошли на крыльцо.
Чтобы стала понятней эпоха,
Шел отец постигать лицо.

В эти дни страна, в просветленьи,
До конца всей правды ища,
Уже знала, как действует Ленин,
Но желала узнать Ильича.

И, задавшись великою целью
Говорить с ней лицом к лицу,

На мгновенье Ленин моделью
Предоставил себя отцу.

Свет январский был серый и плоский.
Беглый луч засветил слегка.
И тогда аппарат отцовский
Уловил и бросил в века

Эти лба высокие кручи
И широких плеч разворот,
Эти всё говорящие очи,
Этот всё понимающий рот.

ПОЭМА

Обрывки музыки, слова
Парили чайками над Невским.
Услышав звуки торжества,
Недовким, легким шагом детским

Я выходила на балкон.
Вы были ближе, чем поэты.
Вот строфы стройные колонн,
Торцов короткие просветы.

Вот рифмы в выхлопах знамен.
Оркестры намечали темы.

Вы были именем времен.
А страсть и высота поэмы

Пронзали зрение и слух.
Нет, не фантазии горенье,
Но в той поэме жил ваш дух,
В людском сознание и боренье.

И может, прежде, в шалаше,
В подполье, на чужбине, в ссылке
Она росла у вас в душе,
Как будущего предпосылки.

В ЛЕСУ

Необходимо все учесть:
И белок писк, и скрипы сосен,
И ласточки весенней весть,
И что итог подводит осень.

Необходимо видеть сразу
Лужайку, что скрывает лес,
И сквозь блистательную фразу
Провидеть личный интерес.

Учесть и кленов желтизну,
И простеньких осин пыланье.
Чтоб цель составили одну
Разноречивые желанья.

Знать, что родится, что умрет.
И надо действовать, как Ленин,
Чтоб, руку выкинув вперед,
Дать всей вселенной направление.

Петр Нефедов

ПО ДОРОГЕ В ШУШЕНСКОЕ

— Ну, родимые, с богом! —
И по чащам лесным,
По саянским отрогам
Путь залег перед ним.

Над тайгою густая
Неба майского синь.
Вот уже и растаял
За спиной Минусинск.

Кони с бешеной силой
Мчат в простор большака.
Ах, Россия, Россия,
Как же ты велика!..

Ни знакомых, ни близких,
Только даль, только глушь.
Где ты в дебрях сибирских,
Речка малая, Шушь?

Не к тебе ль покосилась
Вон избушка одна?..
Ах, Россия, Россия,
До чего ж ты бедна.

Всю тебя обобрали,
Всю, почти донага.
Что ж терпеть? Не пора ли
Встать тебе на врага,

На царя-супостата
И на всех его слуг?..
Подвиг старшего брата
Снова вспомнился вдруг.

Кони цокали трактом,
Пели сталью удил.
День клонился к закату,
Век к концу подходил.

НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

Отсюда мир — как на ладони,
И кажется, сама земля
Стоит в торжественном поклоне
Здесь, у подножия Кремля.

Вверху над башней флаг алеет
И светом озаряет высь.
На эту площадь к Мавзолею
Дороги всей земли сошлись.

И нескончаемым потоком
Из ближних мест, из дальних стран
Сюда идут в молчанье строгом
Сыны рабочих и крестьян.

Идут бойцы-единоверцы,
За строем строй, за рядом ряд.
И не на мраморе, а в сердце
Огнем у каждого горят

Пять этих букв бессмертных —
Л е н и н,
Горят, как символы побед...
Отсюда, с мраморных ступеней,
Над всей землей встает рассвет.

Александр Никифоров

РОССИЯ

Мне заполнили душу твои соловьи,
И луга, и снега, и леса.
Я однажды представил себя вне земли...
Голубые бездонные очи твои
Я пронес через все небеса.

Как межзвездный скиталец, измучился я
Во вселенском кромешном аду.
И вздыхал, вспоминая родные края,
И летал со звезды на звезду.

Не боясь ни беды, ни нужды, ни вражды,
Я спешил, отвергая привал...
Есть планета в системе Полярной звезды,—
Как я там о тебе тосковал!

ВО ВЕСЬ ОПОР

Нас кони дерзкие несут,
Приземистые, карие.
Цветы пестреют там и тут
Среди лугов Татарии.

Несутся кони, словно в бой,
Стремительные, ловкие,
И дышат, как у нас с тобой
Простреленные легкие:

Окопы были в полземли,
Да грязь, да вонь болотная...
В боях нам выжить помогли
Любовь и песня ротная.

Нам надо мчаться — краток путь,
Пренебрежем стоянкою.
Нам надо молнией мелькнуть
Над речкою Казанкою.

И мы несемся, как в огонь,
Как в душный дым пожарища.
Но вдруг твой оступился конь —
И нет со мной товарища.

Мне буря слезы рвет из глаз,
Мой конь гремит копытами...
И я не прочь, что после нас
Нас назовут джигитами.

Александр Николаев

ПОСЛЕДНИЙ, РЕШИТЕЛЬНЫЙ...

Мой маленький сын,
мой наследник,
мальчишек ведя за собой,
поет им про самый последний
и самый решительный бой.

Я в уличном шуме и гаме
случайным свидетелем был,
что сын мой,
мальчишка упрямый,
про этот последний,
про самый
решительный бой не забыл.

И двинулась лет колесница
опять не вперед,
а назад.
Солдатам в могилах не спится,
их снова фашисты бомбят.

* * *

Дорога идет за ворота
и там, за селом, вдалеке
спускается у поворота
к лениво бегущей реке.

Желтеют песчаные плесы,
мальчишки играют в лапту,
и смотрят речные матросы,
как мячик летит в высоту.

Качнуло волной дебаркадер,
сверкнуло на солнце окно.
Я прошлое вижу, как кадр,
фрагмент из немого кино.

Когда это, собственно, было?
И стала как будто видней
и братская эта могила,
и звездочка эта над ней,

Встают, как живые, останки
погибших лет двадцать назад.
На них подрывались, как танки,
сердца отступавших ребят.

И сам, их упреком подхлестан,
старался сдержать я шаги,
и травы старинных погостов
хватали нас за сапоги.

Оставив сырую обитель,
страну закрывая собой,
вставали ваятель, воитель
в последний, решительный бой.

Но если последний остался,
хочу, чтоб не нашим сынам,
а самый последний достался
и самый решительный —
нам.

и этот побитый лесочек,
и берег, что дымом пропах,
и этот проклятый песочек,
что снова хрустит на зубах.

И танки вдали показались,
что мчались на наших солдат,
которые в берег вгрызались,
чтоб враг их не сбросил назад.

И бомбы, снаряды и мины...
Нет, впрочем, речушка не та.
А просто на эти картины
меня натолкнула лапта

и вид почерневших от пота
промокших ребячьих рубах,
когда захрустел отчего-то
песок у меня на зубах.

Николай Новоселов

(1921—1969)

У КРЕМЛЕВСКОЙ СТЕНЫ

Москва еще в дымке туманной.
Двенадцать над Спасскими бьет.
А где-то в отрогах Хингана
Забрезжил и вспыхнул восход.

И солнечный луч,
Пламенея,
Спешит прилететь из-за гор

На красный гранит Мавзолея,
На черный его лабрадор,

Где встали
Навытяжку ели
У древней кремлевской стены.
В них — траур январской метели
И вечная зелень весны.

Как высшую в мире награду
Их влажные ветви хранят
И отзвук победных парадов,
И славных салютов раскат.
Вот так и стоять на виду им,
На площади,
В сердце страны.
Где Ленина светлые думы
К сердцам нашим устремлены.

...Я снова пошел бы под пули,
В блокаде бы выжил опять,
Чтоб на два часа
В карауле
Под этими стенами встать.

РОЖДЕНИЕ ГОРОДА

Строителям Комсомольска-на-Амуре

Последний лед еще синел вдали,
На гребнях волн покачиваясь мерно.
Но первые пробились корабли,
И майским утром люди с «Коминтерна»
По шатким сходням на берег сошли.
Дремучий мир лежал перед глазами.
Поросшая косматыми лесами,
Дымилась марь.
И сопки на заре
Под облачными плыли парусами
В сверкающей росе, как в серебре.
Чубатый гармонист из Армавира,
Тот даже рот раскрыл, оторопев...
Но с парохода громко, нараспев
Метнулось: — Майна! —
Подхватили: — Вира!
— Даешь аврал! —
И эхо повторяло
Ту переключку первого аврала.

Здесь были парни с Дона и Оки,
Плечистые прокатчики с Урала,
Мои, с заставы Нарвской, земляки,
И москвичи, что на подъем легки,
И одессит в бушлате нараспашку,
И киевлянин в вышитой рубашке,
И девушка с лопатой на плече,
Вся бронзовая в солнечном луче.
Болотом, бездорожьем, напролом
Они пошли, врубаясь в бурелом.
На сапогах тяжелой глины комья.
...За тыщи километров отчий дом,
Последнее напутствие в райкоме,
Прощальный вечер в клубе заводском.
Потом — в кумачных лозунгах перрон,
Протяжная команда: «По ва-го-нам!...»
И на восток уходит эшелон.
О Блюхере поют в нем, о Буденном...
Еще рейхстаг в Берлине не пылал,
Испанией не бредили подростки,
Еще был Горький жив.
Еще Островский
На ощупь о Корчагине писал.
Без Ильича уже девятый год
Мы шли по жизни ленинской тропой.
Тропа крута. Работ невпроворот.
Мы верили, мы знали наперед,
Каких вершин достигнет наш народ.
Но старое не сдастся нам без боя.
...И топоры ударили, остры,
В кору столетних кедров над Амуром.
До ночи труд кипел — без перекура.
Сгустилась тьма, и вспыхнули костры.
И, раздвигая таволгу рукой,
Нанайский мальчик, смуглый и раскосый,
Смотрел на них с прибрежного откоса,
Разлив огней увидев над тайгой.
Скользил туман над медленной водой
К широкому простору океана...
Так начинался город молодой —
С корчевки пней, с землянки, с котлована.
...Нелегко нами выбранный маршрут.
Но счастлив я, что с самого начала
Со мной доныне в памяти живут
Короткий митинг, грохот аммонала,
Величие «Интернационала»
И воздух тех торжественных минут,
В котором, как присяга, прозвучало:
«Владыкой мира будет труд!»

ЗИМА

Иду по мягкой белой тишине,
Тропинки падают под ноги сами,
Заиндевелый тополь
Плечи мне
Погладил сучковатыми ветвями.

Остановлюсь, зажмурюсь, чуть дыша;
Как в детстве, жутковато мне и мило:
А вдруг не тополь — близкая душа
Здесь, на лесной прогалинке, застыла?

Ты научи меня, ведунья-Русь,
Поколдовав, расправиться с бедою...
Ударюсь оземь, вербой обернусь
И встану молчаливо над водою.

МАЙКА

Лесе Украинке

Здравствуй, сказка. Доброю хозяйкой
Я в твой дом бревенчатый вхожу.
Я пугливую лесную Майку
Со своею песней подружу.

Я с любою нелюдью полажу
(Нелюди по сердцу простота!),
Я по шерсти вздыбленной поглажу
Ведьминого черного кота.

Темной ночью в лес уйду без света,
Не боясь нисколько никого.
Потому что ремесло поэта —
Это тоже малость колдовство.

Где ж ты, Майка, девушка лесная?
Ты ль застыла вербой у воды?
Не спасла тебя я, не спасла я
От твоей немыслимой беды.

Но уж если ты, души не зная,
Так сумела страстно полюбить,
Я, до невозможности живая,
Чем тебе смогла бы пособить?

Ни по чьей я не живу указке,
Но таков закон у нас земной:
Понимаешь, я хозяйка — в сказке,
А любовь хозяйка надо мной.

* * *

Слушаю ваше молчанье,
Владимирские леса,
Вблизи и на расстоянье —
Древности голоса.

Звоны доходят, как вести
Из глубины веков,
О доблести и о чести
Гуденье колоколов.

Древнего бора гуденье,
Ратного поля гром
Входят в стихотворенье,
Читателю бьют челом.

Новому дню в назиданье
Прошлое смотрит в глаза.
Слушаю ваше молчанье,
Владимирские леса.

* * *

Из полусумрака листвы,
Из глуби суетного дня,
Из окон башенной Москвы
Ты зорко смотришь на меня.

Вплетаешься в зеленый плющ,
Пронизываешь мрак ночной,
Твой взгляд, как воздух, вездесущ,
Как совесть, он всегда со мной.

* * *

Россия. Руки бурлаков.
Россия. Разговор веков.
О, как ты к истине ревнива!

Мешки тяжелых облаков
Взвалила на спину равнина.

Роса. И косы на заре.
И волжский плес. И свет лампы.
И залп орудий в Октябре.
И партизанские приклады.

Седое небо за листвою,
И весь — от устья до истока,—
Путь воспаленно-огневой
От Аввакума и до Блока.

Россия. Степь. Орлиный взор.
Глаза озер. Сквозь хмурию и дрему,
Сквозь вихрь — дорога на простор,
От бездорожья к космодрому.

* * *

Сердце над бездной висит коршуном.
Наземь падает колосом скошенным.
О скалы прибрежные бьется волною.
И остается все же со мною,
Во мне — стесненное и свободное,
Людям преданное, тебе отданное.

Меня тревожит жажда совершенства.
Несовершенство чувствуя свое,
Я вовсе не кляню житье-бытье,—
Фальшивого я опасуюсь жеста
И лживого удобного словца,
Что заменяет истину на сутки,
Что прячет искренность за прибаутки,
За шуточки лукавого льстеца.

Мне беспощадность к самому себе
Нужна как школа, как ее ступени.
Бахвальство пусть сменяется смятеньем.
Смятенье — трудной выдержкой в борьбе
Уверенностью, волей,— может статья,
Удастся мне настойчивым трудом
Коснуться потолка одним крылом,
Одной строкою в памяти остаться.

Ирина Озерова

Встает заря. Мы открываем двери
И входим в новый день, как в новый дом,
Но все свои победы и потери
Мы в сердце, словно в вещмешке, несем.

Живая память... В ней дела и лица,
Как киноленткой, запечатлены.
И мы листаем память, как страницы
Нелегкой биографии страны.

Ни вещь, ни слово в памяти не лишни,
Она величьем мелочей права,
И каждый человек считает личной
Историю великого родства.

ВОРОНЕЖ

Над Воронежем моим летят утки,
Летят утки над землей и два гуся,
И румяная, как летнее утро,
Там частушки распевает Маруся.

Каруселью раскрутилась пластинка,
Современное ее чародейство,
Поздней памяти дрожит паутинка,
В ней пестреет, словно бабочка, детство.

Паутинку эту бережно тронешь —
И откликнется далекое эхо:
За Воронеж, за Воронеж, за Воронеж,
Мил уехал, уехал, уехал...

От дряхлеющей петровской часовни
До безвременной отцовской могилы —
Все в Воронеже мне дорого кровно,
Все в дорогу я с собой захватила.

И когда-нибудь на Севере дальнем
Или в будничной московской квартире
Стану бредить я целебным свиданьем
С этим городом, единственным в мире.

По какой-то небывалой побудке
Вновь для долгого полета проснусь я...
Захватите с собой меня, утки,
Покажите мне дорогу, два гуся!

Александр Ойслендер

[1908—1963]

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ГОД

1

На ярмарке
Били в ладони.
Шарахаясь от слепней,
Бесились горячие кони —
И не было краше коней.
И солнце дрожало в бидоне
Густого, как мед, молока.
И семечки лузгали дони —
Цветной сарафан да серьга.
От сена, от дегтя, от шорни —
По кругу плыла голова.
На лире работал упорный
Слепец... И качалась трава
Бровей обгорелых... Вещая,
Он спрашивал: «С кем вы, сыны?»
Его угощали не чаем,—
Такому чай не нужны,—
А мутной, как омут, горилкой.
Разведчик махновской орды,
Он двинулся —
С тайной ухмылкой,
С глазами, яснее воды.

2

Дышала
Зеленая волость —
И песни
Цвели на губах.
Дозорный —
от смерти на волос —
Курил запрещенный табак.
Мешая с жупанами
гетры,
А с паникадиллом
часы,—
Тянулся на два километра
Отряд одичалой красоты.
Махно,
развалиясь в шарабане,
Чесал воспаленную грудь.
И парило снова,
Как в бане,—

И падала
Крупная ртуть.

3

Пушинками сизыми рея,
Заглядывал тополь в окно
Молельни, где ждали евреи
Грозы,
что копилась давно.
Сказал председатель:
— Я слышу

Тачанок
неистовый лёт.—

Птенец,
Забиваясь под крышу,
Тоскует и гибели ждет.
И стекла трясутся в уезде
От жаркого гула в степи.
И вечер глухих происшествий
Бредет,
напевая:
«Не спи!»

4

И пекарь спросил:
— Для того ли

Я печи
калил докрасна,
Для этого
Из Гуляй-Поля?
Для вшивого дурня Махна? —
И каменщик молвил:
— Сдается,

Что вечер
тревоги такой
Под утро
бедой обернется.
Так к черту домашний покой.

5

Уже
Раздавали патроны
В отрядах самообороны!

Григорий Остёр

ТОВАРИЩИ ЛЕНИНА

Спи.
Бойцы уходят в ночь
В годы и в века.

...Ты не можешь им помочь.
Нет тебя пока.
Спи, пока ты не рожден.
Жди своей судьбы.
Жди, пока ворвется в сон
Дальний зов трубы.

* * *

Спи. В снегу своем бессилён,
Под откос ползет откос.
По истерзанной России
Полям чешет паровоз.
Пар веселый выси лижет,
Доставая до звезды.
И все ближе,
ближе, ближе
Петроградские мосты.
От окраин дальних, хмурых
До столицы — полчаса.
И все ближе те, с прищуром,
Те, знакомые глаза.
Взгляд, просвеченный насмешкой,
Взгляд, пробивший даль времен.
...Он явился. Он не мешкал,
Раз России нужен он.
Лишь заставы раскусили
Этот грозный паровоз,
Как пошла качать Россию
Дрожь разгневанных колес.
Ох, дрожит под дерзким взглядом
Абажуров бахрама,
И стоят немой парадом
Придорожные дома.
Те дома в испуге зыбком
Дрожью пущены вразнос
От насмешливой улыбки,
От грохочущих колес.
Ближе,
ближе —
и с размаху
Грянет гром по волчьим лбам,

И империя со страху
Поползет, треща по швам.
Так, пока ему преграды
Возводили из угроз,
К Петрограду,
к Петрограду
Торопился паровоз.

* * *

И тогда,
и тогда...
Как невиданное половодье,
Затопляя страну,
Размывая трясину дорог,
За строкою строка...
(Ну и брошены в гриву поводья)
О земле и о мире...
(И выплеснут в небо клинок)
И пошла молотьяба.
Только дышит испуганно небо.
Это что за борьба?
Это лунные тени коней.
Это битва о чем?
Это бой из-за песни и хлеба.
Привкус крови с огнем
Остается по донышкам дней.

Эти люди могли,
Эти люди хотели и были,
Эти люди сошлись
Понимать и любить заодно.
Это было давно.
Посплетались легенды и были.
Спи, пока тебя нет.
Спи.
Потом все увидишь в кино.
Это что за народ,
Что за люди?
Спроси их, спроси их.
Как из бурной реки
За волной набегаёт волна,
По разбухшим от крови,
Весенним дорогам России
В бесконечной погоне
Гражданская скачет война.

* * *

Эти трое ребят
Вовсе не были в драке неловки.
Просто пули — есть пули,
Не им бы — достались другим.
И теперь у ребят
На троих —
Три штыка, три винтовки...
А отряд ускакал
В предрассветный, распластанный дым.
И остались они,
И хозяин поглядывал косо
(В самой лучшей избе
Командир поместить их велел),
Так уж вышло:
Они из Кронштадта,
Все трое матросы —
Мастера штормовых, просоленных,
запененных дел.

Что вам их имена?
Посплетались легенды и были.
Ночь. В просторной избе
Густо пахнет крестьянским жильем.
Говорили они.
Всего чаще они говорили
О товарище Ленине —
Ленине, друге своем.

* * *

Три винтовки на троих,
Три горячих раны...
«Нет,— сказал один из них,—
Помирать нам рано».
А другой: «Неплохо б жить,
Воевать до мира.
Братцы, вот бы нам дожить
До Советов Мира».
Но, качая головой,
Отвернулся третий:
«Вот поправлюсь — и домой.
Дома жинка встретит.
Я войной по ноздри сыт.
Наглотался дыма,
И нога моя болит,
Братцы, нестерпимо»,
Но в ответ товарищ встал:
«Брось,— болит колено.
Знаешь, что б тебе сказал
Сам товарищ Ленин?
Сколько он ночей не спит?
Где берет он силы?
У тебя нога болит...
У него — Россия.

У него в огне Кавказ,
Украина в ранах.
Только знает он: сейчас
Отдыхать нам рано.
Всем охота мирно жить
Меж земли и воли.
Надо прежде заслонить
Родину от боли!»

* * *

По дворам собаки, воя,
Теребили тишину.
За столом сидели трое,
Встал один, шагнул к окну.

И тотчас же засвистели
Пули, правя торжество,
И матросы разглядели
Душу друга своего.
На рубахе белой ало
Проступила суть ее.
Пошатнулся и сказал он:
«Ах ты сволочь. Кулачье».
Только выстрелы сверкнули,
Им уже потерян счет.
В окна пули, в двери пули,
И еще, еще, еще...
И второй в минуты эти
На полу ничком. Затих.

Но из трех винтовок третий
Бьет подряд за всех троих.
За троих в бою он ловок,
И пока он жив, пока
Бой ведет из трех винтовок —
Трое живы для врага.
Время близится к рассвету,
Нет патронов,
Дом в дыму...

Спи...
Тебя на свете нету.
Чем поможешь ты ему?
Эх, когда б могли мы, милый,
Из сегодняшних времен
Двинуть армий наших силу
В утро то и в тот район,—
Как бы в бой рванулись роты,
Приминая ковыли!
Как бы небо самолеты
Заслонили от земли!
...Свет подходит с небом синим
К холодеющим губам.

Мы помочь ему не в силах,
Это он поможет нам.
Если нелегко сегодня,
Если ждет сегодня бой,—
В наши дни бросая сходни,
Он приходит к нам с тобой...

* * *

Спят товарищи Ленина.
Спят.
И заря на восходе
Поднимает их кровь
И стоит над землей горяча...
...Но, как прежде, опять
Боевые отряды уводят
По сегодняшним дням
Боевые друзья Ильича —
Мы уже рождены.
Мы теперь постигаем ученье,
Понимать и любить
Заодно с тем, кто жил ради нас.
Может, Ленин нас знал?
Разве это имеет значенье?
Мы живем на земле,
Чтобы свет его дел не погас.
Ты, идущий за нами,
Еще не родившийся ныне,
Ты, кому на земле
Наше дело продолжить дано,
Спи, пока тебя нет.
Спи, пока над землею раскинет
Крылья
Время твое.
Спи.
Потом нас увидишь в кино.

Лев Ошанин

БАЛЛАДА О ЗЕМЛЕ И НЕБЕ

Небо изменчиво, лживо, вечно,
Через облако, тучу и ночь сквозя.
Небо, оно зовет бесконечно,
Так, что жить без него нельзя.
А земля цветет в весеннюю пору,
Снега укрывают ее зимой.
Земля — это точка опоры
Для движения по прямой.
Он был из отчаяннейших ребят,
Что в игре и драке не знают меры,
Что от застенчивости грубят
И берут любые барьеры.
Ему — чтоб волны, чтоб ветер свеж.
Парашют, мотор, на дыбы иноходца...
Такому попробуй крылья подрежь —
И он задохнется.
А ему везло, — еще с пионеров
Все было по сердцу, по плечу.
Прищурясь поглядывал на Венеру —
Ладно. Погоди. Полечу.
Вырос. Понравилось добиваться —
Шаг за шагом. Зубы сжав.
Двадцатый век — не век овец,
Век яростной схватки двух держав.
Тишина. Песок. Зеленая травка.
Все монументально и моментально.
Вчера он принят в отряд космонавтов,
Но это пока еще звездная тайна.

Белочка, Белянушка,
Не держи, пожалуйста...
Прямо через радугу
Твои глазки светятся...
А мне вернуться надо бы
До Большой Медведицы.
А как вскину на руки —
Через дождь по лужицам, —
Сразу в обе стороны
Голова закружится...

Зори встают, и уходят закаты.
Небо над ним как черная брешь.
Он его мерит взглядом солдата.
Занимающего рубеж.
А она плачет. А ей не надо
Его непонятных закрытых побед.
Ей просто надо, чтоб он был рядом
Сегодня, завтра, тысячу лет.

Ей надо, чтобы они танцевали,
Чтоб модный на кофточке окаем.
Чтобы тфельки как у Вали,
Чтобы все видели их вдвоем.
Ей надо утром бежать на работу
И знать — он ждет ее у ворот.
— Когда мы поженимся?
— После первого взлета.
— Когда это будет?
— В свой черед. —
Загадочный, сдержанный, удалой,
Он был небом, она — землей.
— Я устала ждать, вся жизнь перепутана.
Травы в слезах моих, как в росе.
Небо твое, наверное, неуютное,
Позабудь его. Будь как все. —
Но видит она, сразу словом хромя,
Как леденеют его черты.
И шепчет пугливо:
— Прости, понимаю,
Бросишь небо — будешь не ты. —
Вот и ладно. И звезды — фонарики.
И сразу легко под вечерней мглой.
И вокруг радуги. И он ее — на руки...
Она была небом, а он — землей.

Если любишь —
Думаешь потом.
Только ловишь губы
Жарким ртом.
Ты не в шторме на море,
Где волна в кружевце,
Ты не в барокамере, —
Здесь башка кружится.
— Протяни, беленыш, руку —
Откушу я пальчики,
Чтобы к ним не прикасались
Остальные мальчики...

...И новый полет в черноту вселенной —
Непостижимый и обыкновенный.
Уже привычный и невозможный
И снова неповторимо тревожный.
Кто-то в космосе легкое вьет кольцо.
Вся земля у приемников ждет вызова.
Вглядываясь в полутьму телевизора,
Ловит единственное лицо.

Небо притягивает властно,
Всей земле уснуть не дает.
А если вы лично чем-то причастны
К людям, вершащим такой полет?..
Поймите же эту душу девчоночью,
Полюбившую полунебесного брата,—
Подружек и маму держит до ночи,
Колдуя у аппарата.
И вдруг ничего не мчится по небу,
Только взрыв, только дымный гриб...
— Мама, да ты понимаешь что-нибудь —
Он погиб...—
Кто погиб? Тот, незнакомый, прекрасный,
Самый лучший во все времена.
— Мама, там наверху так страшно,—
Вся в слезах заметалась она.

...Друг ее появился не сразу.
Но вот он, любимый, стройный, живой.
Кинулась на шею.
— Рассказывай! —
А он только покачал головой.
Механически переступил порог.
Смотрит в глаза ей внутренним взором.
— Где ты был такой немислимый срок? —
Он очнулся.
— Я просто был дублером.
— Что? — У нее задрожали ноги.
Зарябили серых газет листы —
Только портреты и некрологи...
— Значит, это мог быть не он, а ты?
Не пущу! — и, всхлипнув по-бабьи,
Сжала его в кольцо своих рук,
Все крепче, храня от бед и разлук...
Он стоял, пока руки ее не ослабли.

Потом тихонько ладони отвел,
Поцеловал их, как милые лица.
Сел и ее усадил за стол.
— Ну вот. У нас полчаса проститься.
— Опять проститься? — У края стола
Она сжалась и замолчала.
И в первый раз наконец поняла,
Что все это в жизни только начало.
Начало глухих бессонных ночей,
Ожиданья усталых шагов у двери
После всех перегрузок и скоростей.
И в любую минуту удар потери.
А ей надо музыки и тишины.
Цветов луговых и веселых весел,
Тихих радостей матери и жены,
Новогодних огней и вишневых весен.
...Вот он сидит перед ней, прямой,
Весь до морщинки у губ подробный,
Еще не исчезнувший, близкий, добрый...
«Мой,— она думает,— или не мой?»
И, обжигая все существо,
Внезапная мысль ее подкосила:
Она поняла, что любит того,
Кого ей, наверно, любить не под силу.
А как тут быть? Есть единственный он,
И она никуда из жизни не выбыла.
Косой ледяной сквозной небосклон
И ракета. И нет выбора.
Какой бы он ни был — веселый, злой,—
Он был небом, она — землей.
И, шагнув бессонным ночам навстречу,
Слезу тихонько смахнув по пути,
Положила руки к нему на плечи:
— Милый, я ждать тебя буду. Лети.

Слава Пайна

ДОРОГА

От синеющих елей
на Валдайских отрогах
с горизонтом смешалась
большая дорога,
что темнеет ручьями,
голубеет лесами.
Там для путника есть
у обочины камень.
Камень мягче подушки,
когда легкие думы.
Так ли важно, куда мы?
Так ли важно, к кому мы?
О законы дороги,
и чести, и долга...

По старинке случалось
тащиться на долгих.
Сапоги отмывать
от болотных суглинков.
Мои губы сводило
от ягод с кислинкой.
Доводилось бежать
за санями в морозы
и подолгу стоять,
пропуская обозы.
И у желтых костров
танцевать на морозе.
И валиться, как сноп,
головую к березе.

ДЕРЕВНЯ УСТЬ-ДЕМА

Гусиная деревня Усть-Дема —
речушка, берег, низкие дома...
Ты все сама, сама печешь свой хлеб
и песни выпеваешь нараспев?
Азартно бабы косят на лугах,
глубинная Россия, запах трав.
Гречиха набирает желтизну,
мой возраст набирает крутизну.
Иду, мне вслед глядит, глядит сама
гусиная деревня Усть-Дема.

УМЕНЬЕ

Уменье потихоньку прибывает,
Как будто бы вода в реке весною.
Сначала только камешки прикроет,
Потом накроет валуны большие.
И только ночью шевелятся пальцы.
И места не находят мои пальцы:
В них с болью поселяется уменье.
Из ткани черной, будничной, как пашня,
Я сшила для работы рукавицы.

Уменье потихоньку прибывает,
Через века уменье приплывает.
Уменье править и любить уменье.
Быть дипломатом, рукавицы шить.
В разлуке жить, плыть поперек течения,
Кормить себя работой самой черной.
И я машу кирзовой рукавицей,
Прошитою трижды, скроенною надежно.
Когда умеешь, ничего не страшно.
Хочу уметь, как быть хочу на свете.

Николай Панченко

* * *

В. III.

Не волнуйся, маленький,
потерпи день-другой:
день — дугой солнечной,
ночь — дугой лунной.
Не волнуйся, маленький,
потерпи, мой умный!

Я немало прошел.
Вот последний бросок:
без привала
две ночи,
два дня.

Утром видел, как пуля
зарылась в песок,
двадцать лет догоняя меня...

* * *

Ты — за окнами.
Я — за окнами.
Только в разных концах земли.
Между нами
моржами мокрыми
Ночи черные залегли.

Что ж не едем мы?
Что ж мы делаем?
По утрам зелены в снегу.

Скоро дни, как медведи белые,
На плечах принесут пургу...

* * *

Вдоль пазов клубится дымок —
подсыхает мой теремок.
Над трубой столбится дымок —
будет нынче добрый денек.

Просыпаюсь я на заре,
на семи ветрах, на горе.
Под горой — снега да леса.
Над горой — одни небеса.

Слушаю, как сосны скрипят.
Слушаю, как звери храпят.

Я стою один на горе.
А внизу — луга в серебре.
Я стою один на скале.
А внизу — леса в хрустале.
Птица упорхнула в зенит —
четко бубенцами звенит.

* * *

Знаток охотничьих маршрутов,
я дичь из леса не ношу.
Я, лен волос с травой спутав,
валюсь под крылья шалашу.

Сквозь ветки вялые гляжу,
как белка, старая знакомка,
ведет блошливого потомка
в ученье к мудрому ежу.

Я их доверьем дорожу.
Мне настезь все лесные двери.
Я здесь, как в сказке, как во сне.
Мне люди верят, верят звери.
И только — ты! — не веришь мне...

Анатолий Преловский

ЗВУК

Был ли звук?.. Но отзвук дальний
все стоит, звенит в ушах.
Декабриста ли кандалный,
подневольный шаг?

Или дерево упало
и еще дрожит струна?
Иль пчела сломала жало
и вот так слышна?

Иль такой уж нынче воздух —
неконтактен, вязок, сух, —
что не звук, а только отзвук
ловит бедный слух?

Джеймс Паттерсон

БУНТАРСКАЯ БАЛЛАДА

Годы отстукивали свое тик-так
на больших часах
судеб человеческих, и вдруг
метеорами
сверкнули из огромной России три
суровых слова, и рабочие с оружием
пошли умирать
за — Хлеб, Мир и Землю.

Карл Сэндберг

...Белокожие и темнокожие
у стен стояли, оцепенев,
а жизнь мимо них
с бешеной скоростью
проносилась под рев сирен.
Они дорогу шагами мерили
ради работы самой случайной
и ночевали на дне отчаяния —
в ночлежке Бауэри.
А где-то пахивало пожаром.
Час революции близится.
И брали уже на заметку жандармы
кого-то на Ленских приисках.
Сила бунтарская не дремала,
взметалась на крыльях
рабочей песни
и проступала Стена Коммунаров
над баррикадами
Красной Пресни.
В Петрограде и в Сан-Диего,
в Иваново-Вознесенске
и в Сан-Франциско
люди во имя великой идеи
шли на каторги, в тюрьмы,
в ссылки...
От мирка с домашними стирками,
с домашней готовкой,
с домашним вязанием
женщины становились бунтарками,
женщины становились бойцами.
Шахтеры,
строители
и текстильщики
в Айдахо, в Сибири, в Массачусетсе
сурово вливались в ряды забастовщиков,
чтобы права отстаивать вместе...

ДОЗВОНИСЬ В МОИ ЛЕСА!

Дозвонись в мои леса!
Дозовись меня из джунглей!
Будет отвечать дежурный:
Подождите полчаса.

А леса мои горят,
Смертно хлюпают болота.
И тоской исходят соты —
Глазки гибнущих зверят.

Я охотник не из тех,
Что по выстрелам тоскуют,—
Пусть глухарь в кустах токует,
Мне б познать иной успех.

Мне бы выследить врага —
Смертоносного микроба.
Полчаса, и скину робу —
Белый маскхалат врача.

Ну, а если подведу,
Не приду к тебе так скоро,
Знай — не выиграл я спора,
Не преодолел беду.

Как сбегу я из лесов,
Если пламень не потушен?
Завяжу халат потуже,
Позабуду ход часов.

И в глазах больных мышат
Оживут цвета брусничин,
Чтоб, ничем не ограничен,
Человек не знал преград.

Дозвонись в мои леса!
В успокоенные дебри!
Вот и выиграны дерби,
Вместе наши голоса!

ТАНЕЦ СТРОЙБАТОВЦЕВ

Ты помнишь, плясали грузины?
Зубами роняли платок.
Хрипатые бубны грустили,
Прицокивал влажный песок.

Стройбатовские рубаки
У тачек, дверей и рам,
Зеленые скинув рубахи,
Кружили, подобно орлам.

Стонали их горла и бубны,
Как в скалах ревущий поток.
Я вдруг испугался, будто
И ты превратишься в платок.

И, легкая, в пляске весенней
По тесному кругу пойдешь,
И станешь тоской и везеньем,
И в мятый песок упадешь.

Сергей Поделков

ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР

Дом
на взгорке крутом.
Хищный март за окном.
Ветер. Оттепель. Точки капли.
Мокрый лес, гнутся голые сучья кругом,
косачи на березах оторопели:
неожиданно вылез медведь из берлоги.
Снег хрустит.
Проломились дороги.
Захворала зима,
лучевая болезнь источила.
Плачут окна.
Звонит телефон.
Голос в трубке дале-е-кий, как стон:
— Это ты?
Что случилось?
Что случилось с тобою сегодняшней ночью?
Не скрывай!..
Этот сон был зловещ...—
Обрывается речь,
и молчание — как многоточье.

В треске междугородных помех
вдалеке
я дыханье ее различаю.
Между нами
тоска,
поездов круглый бег,
небо в кляксах —
покрыто скользкими с юга грачами.
— Что ты, милая, все — чепуха.
Не тревожься... Алло! —
Рвется связь,
и глуха
трубка черная, провод пустынен.
— Черт! Алло! —
и нервический всплеск укороченных фраз...
«Говорите!» —
врывается телефонистки приказ,
как спасительная благодостыня.

Снова трубка нежнейшей тревоги полна,
речь пульсирует,
слышу: то громкой, то слабой.
— Я спала.
Ровно в полночь,
как склизкою лапой,
меня вытолкнул ужас какой-то из сна.
Сразу мысль о тебе.
Мне почудился зов,
непонятный прислышался возглас...
За сто верст от меня ты —
как за сто веков.
Что случилось с тобой в этом месте
промозглом?

— Все прошло.
— Что прошло? Не тай! —
Долгий вздох,
будто рядом стояла устало.
— Ровно в полночь... Я лампу зажег.
Подступало удушье,
мне воздуха неоставало,
неоставало тебя.
Я подумал: ты далеко.
Странный страх,
в первый раз было что-то такое...
Лучше стало...
И дышится так же, как прежде, легко.
— Что же врач? Что сказал он тебе?
— Стенокардия покоя.

У окна —
кисть портьерную я тереблю,
а в крови,
в голове
бесконечного эха дрожанье:
«Я люблю тебя,— слышишь?
Люблю!
Я сейчас выезжаю».

ИСКУССТВО

Опять разлад — и нет прозренья,
боль — будто брошен на копыл.
Откуда ж сердца разоренье,
мысль, пущенная на распыл?

Какою объяснить виною
распад и замысла и сил?
Да, злой уход ее в иное
искусства ход остановил.

Все было наготове, затемь
яснела, шло скопление слов...
Ушла, дохнув горячим платьем,
прелестна, как болиголов.

Тут ни дешевле, ни дороже
оценивается беда —
страшней: бумага как пороша,
на ней живого нет следа.

Когда опара прет из дежки,
а печь без жара — тесту плыть,
всегда насущного издержки,
за них нам горестно платить.

И чтоб себя не дать распять
злоречью на бесплодной выти,
учись опережать события
хоть на пол-локтя, хоть на пядь.

Сергей Поликарпов

ЖИВИ, МОЯ РОССИЯ!

Не собирал ни марок я,
Ни бабочек,
А осенью на поле — колоски...
За перегорьем где-то жарко бахает,
И крестятся угрюмо старики.

И бабы, затянувши лбы платками,
Сморкаются слезливо в подолы.
— Ой, родненькие,
Сводка-то какая!
Не привелось бы связывать узлы!..

Давно ль,
Давно ль все это явью было!
И по сей день
В лугах еще порой
Охапку сена навернешь на вилы,
И звякнет гильза, съеденная ржой.

И отзовется в памяти прозрачной
Все, в ней гвоздем засевшее с тех дней:

Мальчишка по стерне ползет по-рачьи,
И бабьи платья, аспиды черней.

Не в том вопрос,
Что это пережил я.
Как победить России удалось!
Ее земли целую сухожилия
И шелк ее березовых волос.

Мир сквозь свою тогда я видел призму.
Все нынче в свете видится ином...
Я скорбь твою, Россия,
Сердцем принял
И памятник погибшим строю в нем.

Чтоб слава их вовеки не померкла.
Я сын лишь твой,
Исполненный любви.
Мой век короткой меряется меркой,
А ты
Во веки вечные живи!

Анатолий Прокудин

ПОСЛЕ АРТНАЛЕТА

Верхушки сняты словно бритвой,
Деревья голы, как столбы.
А ведь шумели перед битвой
Березы, сосны и дубы.

Снаряд громит, не разбирая,
Кто перед ним: чужой иль свой.
Грачей напуганная стая
Кричит под орудийный вой.

И негде птицам притулиться,
И не помочь никак грачам.
И до сих пор мне часто снится
Тревожный гомон по ночам.

В ДЕРЕВНЕ ПЕРЕД ГРОЗОЙ

Гроза не началась, но созревала,
Была близка, что видно по всему:
Вдали сверкало все и грохотало
И погружалось медленно во тьму.

Как будто избы стали ниже, ниже —
На корточки присели и молчат.
Гроза идет. Она все ближе, ближе.
Наседка под навес зовет цыплят.

Из стада овцы прибежали скопом
И мечутся, не зная, где их дом.
И гуси головы, как перископы,
Приподнимают, вслушиваясь в гром.

Валентин Проталин

* * *

Как встарь,
и ныне каждому по силе
дает земля.
По силе — свой простор.
Бери его...
Я пред тобой, Россия,
в таком долгу...
Но ты не кредитор.

Ты торг великий не заводишь с нами.
В дни мира и в лихие времена
нелегкий жребий выбираем сами,
все отдаем.
И этим ты сильна.

* * *

Осенние лучи пугливы,
но выпадет погожий час,
и желтолиственное диво
по-прежнему волнует нас.

От легкой свежести в ударе,
оставив поскучевший дом,
гуляют люди на бульваре
старомосковском —
на Тверском.

Пойти и просто так забыться
какие-нибудь полчаса.
Свободней жесты, мягче лица
и мелодичней голоса.

А листья падают все чаще,
прозрачней синева в ветвях,
и отблеск солнца уходящий
играет в женских волосах.

Эдуард Пузырев

НАЧАЛО

Летели верхом облака,
прокинув
 тени через площадь...
Ко мне взросление на ощупь
проталкивалось издалека.

Волнения большого дня,
события живого Мира,
как облака,
 летели мимо,
не задевая за меня.

Но вот
 замедлился пробег,
приостановлено вращенье.
Во мне спрямилось ощущение:
я в этом Мире — человек.

В него,
 как в новый дом,
 вхожу
и чувствую кровинкой каждой —
отныне станет очень важно,
что сделаю
 и что скажу.

Вадим Рабинович

ТРИДЦАТОЕ НОЯБРЯ

Тридцатое... Ноябрь отлетел
листом кленовым в огненных разводах.
Потом поплыл, свободен и бестел.
Потом застыл на почерневших водах.

Затягивались лужи по утрам,
как будто заживающие раны.
Оконные подрагивали рамы,
и старый клей отскакивал от рам.

И вот зима, морозна и чиста,
явилась сегодня, а не завтра.
И стало быть, пришла она внезапно,
хоть и пришла тридцатого числа.

И разлилась по миру тишина...
Но было страшно людям боязливым,
как перед боем или перед взрывом,
когда снежинка каждая слышна.
И первый снег как на голову снег,
как парашюты или что другое...

Не верил в приближение покоя
отвыкший от покоя человек.

Павел Радимов

(1887—1967)

СТРОКИ О РОДИНЕ

Я в той стране, где лют мороз,
Я в той стране, где лес берез,

Я в той стране, где воля, ширь.
Я в той стране, где Русь — Сибирь.

Я дружен с ней с ребячьих лет.
Я в той стране, где я — поэт.

Я в той стране, где мой народ,
Где в сердце Ленин наш живет.

ЗИМА

Мне сродни мороз колючий.
Я люблю погожий день,
Над трубою дым летучий
От соседних деревень.

У зимы краса такая:
Хрустнет на дороге наст,

Лошаденка молодая
Рьяно прыть свою отдаст.

Что раскат иль колея?
Только треплется шлея
И летит над головой
От разбега дух парной.

Генрих Рудяков

* * *

Оставшимся в живых — давно за сорок,
Моим друзьям, товарищам моим.
Отличный возраст!

Ум — глубок и зорок,
Ему не страшен словопрений дым.
Пройдя круги не дантовского ада,
Друзей теряя, падая в бою,
Мы поняли, что это как награда —
Отдать себя за родину свою.
Вот уцелели, что ж,

судьба такая.
Не век же с автоматами шагать.
Но кое-кто,

неправде потакая,
Хотел бы нашу юность оболгать.
Но никому на смех и поруганье,
Ни юным свистоплясам, ни седым,
Не отдадим своих воспоминаний
И юности своей

не отдадим.

ВЗЯТИЕ БУДАПЕШТА

И бетон, и камень, и сталь
В эту ночь мы с землей смешали.
Под ногами хрустел хрусталь,
Тряпки шелковые шуршали.
Купол неба, словно ножи,
Разрезали лучи на части.
На десятые этажи
Забирались гвардейские части.
Нам отсюда, сверху, видней,
Что с избитой землей творится.
Ей осталось с десяток дней
Быть не взятой еще столицей.
Все смешалось в пылающей мгле,
И бежать, и скрываться — поздно.
Как осколки, со свистом звезды,
Нарастая, летят к земле.
На востоке ракеты след —
Небосвод полосой распорот.
В осажденный историей город
Вместе с нами ворвался рассвет.

1945

НА ГРАНИЦЕ

Ты вслушайся в родную речь,
В шаг пограничного наряда:
— Границу можно пересечь,
Переходить границ не надо!..

Слова, спокойные обычно,
Вдруг вырвутся из берегов:
— Россия в дружбе безгранична,
Ее границы — для врагов!..

Поэт, позиций не сдавая,
Фильтруй событий голоса.
В душе контрольно-следовая
Должна быть тоже полоса.

ПОЕЗД

Когда становятся пустыми города?
Когда любимые уходят.
Кто — куда:
кто в дальние, кто в ближние места,
кто на года,
кто навсегда,
кто просто так.

Когда становятся пустыми города?
Когда от нас уходят поезда,
от станционных вздрогнувших огней,
от сердца,
от судьбы
(что толковать о ней!).
Десятки, сотни, тысячи кругом.
Состав уже летит во весь разгон.
Остановить!..
Здесь остановок нет...
Здесь белый свет.
Здесь самый лучший свет.
Миллионы душ,
сердцебиений,
лиц.
И судьбы, словно улицы, сошлись.
И нет одной-единственной судьбы.

Состав летит. Сквозь толпы и столбы.
И скошены, как надолбы, столбы.

РОСТОВ ВЕЛИКИЙ

И начинается качанье,
и медь к просторам воззвала,
и начинается молчанье —
колокола, колокола.
Какая древняя музыка! —
в необозримый белый свет —
мильонолика, стоязыка —
сквозь сотни лет, сквозь сотни лет
всплыла, застыла и повисла,
и вознесла, и возвела
недосягаемого смысла
невидимые купола,
и тихо-тихо, глухо-глухо
доносится издалека
полет раскованного духа
сквозь даль, сквозь сердце, сквозь
века.

БАЛЛАДА О ЧЕТВЕРТОЙ РОТЕ

Леса да болота,
Шагают вперед войска,
Четвертая рота
Идет в голове полка.
И к роте известной,
На час про дела забыв,
На смех да на песни
Заезжает и сам комдив.
Смеется:
На свете, мол,
Таких не видал вояк,
Чтоб каждому третьему
Сам генерал — земляк!

В землянке штадива
Все сны отлетают прочь,
Над картой прорыва
Работа идет всю ночь.
Проспать хотя бы...
В ушах — пулеметный звон.
Начальнику штаба
Мерещится пятый сон:
Полки на привале,
Отбой трубачи трубят,
И спать приказали
Пять тысяч часов подряд...

Пять тысяч снарядов
Должны на высоты лечь,
Но надо,
но надо
На минуту врага отвлечь...

Легли на планшетах
Пунктиры окольных троп,
А кто-то до света
Пойдет на фашистов в лоб.
— Живым невозможно
Пройти этот адский путь,
Атакою ложной
Неприятеля обмануть!
— Полковник, не спорьте! —
Генерал непривычно хмур.—
Пишите —

Четвертой
Идти к высоте на штурм!

Ночная работа.
Ракеты.
Светло как днем.
Четвертая рота
Прижата
К земле огнем.
В бинокле комдива
Пылает под ветром
Степь.
В участке прорыва
На сто метров
Раздалась цепь.
На флангах пехота
Всего полпути
Прошла,
Четвертая рота,
Как же ты подвести
Могла?..

На часах генерала
Под стрелкою — бег секунд...
Так давно не бывало:
Он оставил командный пункт.
В боевые порядки
К пехоте...
Минута...
Пять...
— В атаку, ребята,
Четвертая рота,
Встать! —
В шинели потертой
Пошел к высоте генерал,
Из роты четвертой
Впервые никто не встал.
Пехота
С обратного ската
Вошла в пролом,
Четвертая рота
Прижата
К земле огнем...

На Запад! На Запад!
Днем и ночью спешат войска.
Четвертая рота
Опять в голове полка.
И к роте известной,
На минуту дела забыв,
На смех да на песни
Заезжает седой комдив.
Но брови густые,

Видно, хмурит он неспроста,—
И песни другие
И рота — не та,
Не та...
И в глазах полководца
Заветная грусть видна:
Он редко смеется,
Не до шуток ему —
Война.

Иван Рыжиков

* * *

Когда бы,
Круто брови поднимая,
Сказал он,
Как всегда, по существу,
Что я
Простых вещей не понимаю
Или что я
Неправильно живу,

Наверно б, я
Сумел ему ответить
На те слова
И тот суровый взгляд,
Но слишком рано
Сиротеют дети —
Молчит мой батя
Двадцать лет подряд.

И я шепчу
Бессонными ночами,
Как будто на далеком берегу:
— Прости, отец,
Что на твое молчанье
Я ничего ответить не могу...

* * *

Сад предосенний на сносях —
Ему и радостно и больно.
Как луны полные, висят
Плоды,
Раскинувшись привольно.

Пройдет еще десяток дней,
И, не желая лучшей доли,
Вплотную подошедший к ней,
Он сам захочет этой боли.

Он понял: жизни существо —
На грани самоотречения,
Где даже эта боль его
Полна высокого значенья.

Завершены его труды:
Сдружил он землю с небесами.
Зарей налитые плоды
Теперь уже созреют сами.

Под легким шорохом зари
Все дни молчавшие упорно,
Как колокольчики, внутри
Уже позванивают зерна.

Еще в родительской тени
Плоды уютно золотятся,
Но этой близостью они
Уже заметно тяготятся —

Теперь осилить немоту
С высокой благостью и ленью
И перейти за ту черту,
Где наступает избавленье.

И в миг неповторимый тот,
Почти во власти отчужденья,
Он, мудрый, так и не поймет:
Что это — смерть или рожденье.

В спокойной памяти едва ль
Она задержится надолго,
Та вековая печаль
Уже исполненного долга.

И вновь минувшее не в счет,
Подобно зыбкому цветенью.
Лишь гулко яблоко падет,
Столкнувшись с собственной тенью.

* * *

После прошлой войны
Дети долго в войну не играли.
Даже слово «война»
По ночам приводило их в дрожь.
Но остыли, срослись,
Позабылись тяжелые раны,
На оплывших окопах
Сплелась духовитая рожь.
Каждый лист и росток
Снова тянется к жизни упрямо.
Внукам павших солдат,
Разве им оценить тишину?
И печально молчат,
И не спят,
И тревожатся мамы:
Почему по дворам
Дети снова играют в войну?

ВЕЧЕР 23 ДЕКАБРЯ

Стемнело двадцать третьего
не позже, чем всегда.
Но странный сговор встретила
заходящая звезда.

В деревне ли, в природе ли,
несхожих, как назло,
все, что молчало вроде бы,—
все явно не спало.

По щучьему велению,
похоже, дан сигнал,
что быть приготовлению,
к чему — никто не знал.

И все ж рукой, сплетенною
из сыромятных жил,
уж не на Ночь ли Темную
кузнец ножи точил,

а духа человеческого
не терпящий овраг,
всегда храпевший с вечера,
молчал черт знает как.

Все эти знаки скудные
поняв как приговор,
Ночь знала: ни секунды ей
не вырвать с этих пор.

Кузнечная, сапожная
светились на холме.
Стояла тишь, возможная
лишь в этой полутьме.

Мороз сорокаградусный —
безмолвнейший пожар...

Хотелось новых радостей,
и старых было жаль.

Владимир Савельев

* * *

За друзей вступающийся пылко,
напряженный от зрачков до скул,
он судьбою,
выкованной в ссылках,
по державным путам полоснул.

И, не шаг чеканя — канонаду,
проступил
в российском далеке
человек решительного склада
в повидавшем виды пиджаке.

Конники взлетали на курганы,
корабли сигналили в тумане,
и качались древние берданы
на плечах сибирских партизан.

И пожары
ополночь знобило,
зубчато кидая вкривь и вкось,
точно окровавленные вилы,
темень проповорвшие насквозь.

И от слов,
на митингах не стертых,
содрогались дали заграниц.
И дворцы выплакивали стекла
из своих готических глазниц.

Да, в томах,
что под обложкой твердой
багровеют у моей стены,
каждая строка,
как шнур бикфордов,
угрожает взрывом тишины.

И не зря мечтаю я о чуде...
Но свершись науки колдовство,
чтоб продлить часы его, —
и людям
вновь отдаст он все до одного.

А верни к истокам — и в порыве
повторит почти без перемен
тот же путь
от шалаша в Разливе
к Мавзолею у старинных стен.

* * *

Не веря ни в божью,
ни в чертову помощь,
рукой не касаясь слипавшихся век,
в бессонную,
ныне далекую полночь
устало молчал у окна человек.

Штыками внося в отношения ясность,
на юге бросала крутая пора
всю русскую ярость
на русскую ярость,
размах на размах и «ура» на «ура».

У красного цвета не меркли оттенки:
сопя и дрожа в озверенье слепом,
в Сибири каратели ставили к стенке
ревкомовцев,
выданных тихим попом.

Сшибались в Задонщине конные лавы
со скрежетом,
будто клинок о клинок.
А тот человек,
отдыхавший по праву,
то гневно мрачней, то щурясь лукаво,
из кружки прихлебывал злой кипяток.

Над Волгой
по-вдовьи ветра голосили,
морозы с разрухой крепили родство.
Но вместе со всей неоглядной Россией
и он голодал, и наркомы его.

Недаром,
и в прошлом не кое-что знача,
доныне дословно врываются в стих
призывы его комиссаров горячих,
приказы его командармов лихих.

Недаром
тревожусь я через полвека,
как будто, дыханье в груди затая,
стоит за плечом у того человека
еще не страдавшая совесть моя.

Стоит, отвлекаясь от маленьких споров,
под сводом,
где, словно бы в глуби веков,
двоятся в ночной глубине коридоров
шаги неподкупных латышских стрелков.

СХОДКА

С утра поодиночке и попарно,
бестрепетно минуя кабаки,
сходились подозрительные парни
в каком-нибудь лесочке у реки.

Сходились, переваливаясь пьяно,
друг друга задирая не всерьез,
чтоб некто
с оттопыренным карманом
властям о беспорядках не донес.

И цвет, таящий будущие грозы,
из года в год передавали вновь
глазам их — реки,
волосам — березы,
судьбе и флагам — пролитая кровь.

В тюрьме гноят не за пустые байки.
Пусть радуга,
уткнувшись в луг,
казалась обезумевшей нагайкой,
над миром прочертившей полукруг.

Пусть виделось грядущее не четко...
Оспаривай, свергай и возноси,
страстями раскаляемая сходка —
верховный орган смуты на Руси!

Худой оратор
в картузе из кожи,
сомкнувшиеся плечи работяг, —
не зря ты даже издали похожа
на колокол, чернеющий в кустах.

Не зря ты в чудо веруешь упрямо,
не веря проявлениям причуд.
И вскоре люди,
покидая храмы,
за новыми пророками пойдут,

и грозный час колоколов наступит:
плеснут набатом
в будничность земли
те богом перевернутые ступы,
в которых время попусту толкли.

Плеснут, плеснут — и отзовутся души...
Недаром от лесочка у реки
мне и поныне ударяют в уши
тугие полицейские свистки.

Меня охранка, нервничая, ищет,
а я у самой смерти на краю
листовку,
будто нож за голенищем,
от взглядов настороженных таю.

Сейчас иная надобна отвага.
Но до седых волос
за мигом миг
тончайшие полоски алых флагов
полощутся в артериях моих.

Оскал клинков
в глазах моих маячит.
И, жгучую надежду зароня,
хрипят ветра,
как есаул казачий,
бульжниками сброшенный с коня.

СТАРЫЙ САД

Забор крапивою зарос,
Но, несмотря на весь разор,
Необычайно свеж рассол
Настоянных на росах зорь.

Здесь был когда-то барский сад,
Где молодой славянофил
Следил, как закипает таз
Варенья из лиловых слив.

Он рассуждал: «Недаром нить
Времен у нас еще крепка».
И отпирал старинный шкаф,
Где красовался Ламартин.

Читал. Под деревенский гул
Вдруг засыпал. Чадил ночник.
И долго слышен был чекан
Кузнечика в ночном лугу.

* * *



Неужели всю жизнь надо маяться!

А потом

от тебя

останется —

Не горшок, не гудок, не подкова, —

Может, слово, может, полслова —

Что-то вроде сухого листочка,

Тень взлетевшего с крыши стрижа —

И каких-нибудь полглоточка

Эликсира,

который — душа.

Владимир Семакин

* * *

Все чаще снится и мерещится,
все чаще видится одно:
мелькают будки, как скворечницы,
дрожит на стрелках полотно.

От светофоров рельсы зелены.
На стыках — мягкое: жа-жах!
Тоннель отпрянул, как простреленный,
а голос твой
еще в ушах.

Кричишь вдогонку: «До свидания!..»
А я уже
не знаю где,
почти уверенный заранее,
что быть не велено беде.

И что вокруг —
огни ли, звезды ли, —
пойди попробуй разберись,
и только весь в какой-то роздыми
мой путь, как Млечный, серебрист.

И, наливаясь невесомостью
на долгожданном рубеже,

я замечаю, что не по́ мосту —
лечу я за́ небом уже.

Как светофоры, звезды зелены,
и дали — те, что по-за мной, —
с такую лихостью прострелены
ездою, схожею с земной!

И что — стыковка, не стыковка ли,
вагон ли это, не вагон, —
уже приемлю как таковское
любой межзвездный перегон.

А вон — Земля,
и к ней — прогалина
в тревожно-дымных облаках,
и где-то в парке —
бюст Гагарина,
и ты с дочуркой на руках.

А там и нивы где-то около —
колосья тёплы и грузны,
и все, что в мире есть высокого, —
все это всплески их волны.

* * *

Не то цветок, не то снежинка,
горит кукушкин горлицвет —
сама улыбка и смешинка,
само веселье и привет.

Как будто зорька разорделась
в белоберезовой глуши...
Пооблетела вся нальделость
и вся окалина с души.

И были — не были суровы
невзгоды прожитых годин,

все отступило, как сугробы,
все улетучилось, как дым.

Да ты и сам как эти пчелы,
заполонившие поем,
такой же добрый и веселый,
такой же легкий на подъем.

И даже слезы — как живица,
и весь ты солнцем испрошит,
и что там дальше ни случится,
тебя страшит и не страшит.

Владимир Семенов

ВРЕМЯ

Всему закон диктующее свой,
Сурово-беспощадное со всеми,
Перед кремлевскою стеною
Время
Проходит
С обнаженной головой.

В песок и щебень горы измельча,
Перетирая в пыль гранит обломков,
Оно
Бессмертный образ Ильича
Лишь ярче отшлифует
Для потомков.

Геннадий Серебряков

* * *

Как сердцу больно!
Ты поймешь, Болгария,
Печаль неутолимую мою.
У елочки, посаженной Гагариным,
Я в карауле памяти стою.
Здесь на холме
Она растет, как во поле,—
Зеленые иголочки в руках —
Над Пловдивом,
Над древним Филиппополем,
Над Фракией, затерянной в веках.
Под голубыми крыльями Вселенной
В распахнутую высь вознесена,
Пожалуй, как и он,
одновременно —
Земная и небесная она.
Как будто знал он,
Что уходит время,
Уносится, событиями слепя.
В сердца людские,
в книги
и деревья
Легко и щедро отдавал себя.
Я помню день, когда мы виновато
Кляли себя: мол, вот не сберегли...

А он был не музейным экспонатом,
А звездным устремлением Земли.
Ему всегда простора не хватало.
Среди восторгов, тостов, суеты
Вдруг снова губы зноем обжигала
Пронзительная жажда высоты.
Он понимал, что только в этом счастье.
И взлет души нельзя остановить.
За славу, что дается в одночасье,
Мы жизнью всей обязаны платить.
И здесь как преступленье —
отступленье.
Жить, прошлые заслуги теребя,
Ну разве сможешь, если поколенье
Свое равненье держит на тебя?..
И он ушел в стремительную небыль,
Оставшись до конца собой самим.
И вот растут нацеленными в небо
Все деревца, посаженные им.
Как сердцу больно!
Ты поймешь, Болгария,
Печаль неутолимую мою.
Здесь на холме
У елочки Гагарина
Я в карауле совести стою.

ЖЕСТ

Жест — продолженье нашей речи,
Уста молчание творят,
Но кисти рук, спина и плечи
Всё говорят, всё говорят.

Стихотворенье продолжает
Молчанье наше, а не речь.
Состав ушел, но провожает
Его поэт для новых встреч.

В молчании бредет с вокзала,
Но если только он поэт,
Он машет — пусть и запоздало —
Трем красным огонькам вослед.

СПАССКИЙ МОНАСТЫРЬ

Не той погодой волглой,
А зная то, что пламень там,
Я пять минут над Волгой
Жил в храме белокаменном.

Под боком речка Которосль
Плела свои извивы,
Волнуясь словно водоросль,
Как мы, пока мы живы.

Я был отягощен собой —
Меня терзало знание
Того, что этот миг с тобой
Уже воспоминание.

И что, когда придет оно,
Пусть через много дней,
Уже не будет все равно
Ни лучше, ни больней.

ПРЕДЗИМНЕЕ

Папоротник
Стал совсем белесым,
И простились ветки с желтизной.
Я иду
Белоколонным лесом
К луговине — просекой сквозной.

Нет в лазури
Клиньев журавлиных —
Улетели словно бы вчера.
Серые стога
Стоят в долинах.
Мглистее, студеной вечера.

Позабудет
Горечь понемногу
Алая рябиновая кисть.
Яблони,
Чуть заметет дорогу,
Станут зайцы втихомолку грызть.

Белый сон —
Он долго будет сниться
Под неторопливый снегопад.
И земле
Не нужно рвать страницы —
Ни строки, ни слова невпопад.

Ей снега обильные
Не в бремя —
Только благодарность небесам.
Стынут воды,
И восходит семя —
Солнце все дарует по часам.

Сердце человеческое
Тоже
Дышит предвозвестьем тишины.
Жить ему
Задумчивей и строже,
Как земле, безмолвной до весны...

ПЕСНЬ О ЛОПАТЕ

От солнца
Краснокожий,
Сияющий от пота,
Весь в дерзновении
Моих
Разумных мышц,
С лопатой я дружил
На уссурийской стройке.
И на руках
Мозоли утверждались,
Как знаки зрелости,
Как высшие награды.
И до сих пор
Горжусь я
Той лопатой,
Учителем
Упорства и труда!

* * *

Сошла
Зимняя матовость.
Вымыты окна.
Вымыт мир.
Переливается солнцем
Желто-зеленый осинник.
Вербы проклюнулись,
Тропы протаяли,
И гудит по дорогам
Восстание жизни —
Весна!

Борис Слуцкий

* * *

Мой батальон — четыреста парней,
выпускников училища пехотного,—
мне подчинялся бодро и охотно.

Я не видал толковей и верней
солдат,
 чем эти вот десятиклассники,
которым оставалось десять дней
до смерти, той, что будущие классики
изобразят красивей и верней.

По должности я сводки им читал.
По дружбе — то, что помнил из
 отечественной
поэзии (ведь на войне Отечественной
стих русский неуклонно расцветал).

Какие комсомольские собрания
в те десять дней я провести успел!
Какие песни пел близ поля брани
мой батальон!
Какие песни пел!
Какую стенгазету мы повесили
в районе боя,
посреди войны!
Четыреста курсантов бодро, весело
ее читали, сгрудясь у стены.

Соображая, как случилось это:
мы победили, немцы — проиграли,—
я вспоминаю комсомольское собрание,
и синий дым трофейных папирос,
и на повестке дня один вопрос —
о том, что каждый сделал для победы.

НАЛЕТ

Сирена запела зверино,
Военно завывала с поста.
И мягкая, словно перина,
На город легла темнота.
И вот выключаются, тушатся
И гасятся лампы везде.
На территорию ужаса
Гляжу при луне и звезде.
А как это так получается,
Что всюду огни выключаются?
Бросаются к лампочкам руки,
Как женщины под поезда.
Когда начинаются звуки,
Стираются краски тогда.
И только сирена, сирена
Играет в четыре руки,
Как с пива — веселую пену,
Сдувая с домов огоньки.
И вот начинает расстеливаться
Огромный ковер бомбовой,
И вот начинает отстреливаться
сумрак, зовомый Москвой.
И город уже не боится.
Он сжался, как пальцы в кулак.
И вскорости свет возвратится
И лампы зажгутся в домах.

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ

С первой попытки брал барьер,
прыгал с места, а не с разгона,
дерзкий, сторожкий, как дипкурьер
в купе трансбалканского вагона.

В звонкую форму свою влитой,
в памяти он выступает снова:
шел, будто чувствовал под пятой
выпуклость, круглость шара земного.

Поворачивался и трещал
новыми кожаными ремнями,
взглядом миры и миры обещал.
Мы на него себя равняли.

Где-то меж старой и новой границей
горсточка праха его хранится.
Там он убит, и в глину зарыт,
и торопливо оплакан навзрыд.

КОЛОКОЛА

Колокола звонили про дела:
дела — плóхи; дела — плóхи; дела —
плóхи —

унылые колокола
конца эпохи.

Понятней, чем на русском языке,
на медном языке обедни
они все громозвучней, все победней
раззванивали о беде, тоске.

Они предупредили старый мир
и точно вызвонили час и миг,
но старый мир не вслушался в сигналы,
внимания не обратил,
и вот его шугнули и согнали
с престолов
и изгнали из квартир.

Тот перезвон навек в ушах остался,
и, встретившись в Париже, на ходу,
кричат друг другу эмигранты-старцы:
— Колокола звонили про беду!..

СТАРЫЙ СПУТНИК

Словно старый спутник, забытый,
отсигналивший все сигналы,
все же числюсь я за орбитой,
не уйду, пока не согнали.

Словно сторож возле снесенного
монумента «Свободный труд»,
я с поста своего полусонного
не уйду, пока не попрут.

По другому закону движутся
времена. Я — старый закон.
Словно с ятью, фитою, ижицей,
новый век со мной не знаком.

Я из додесятичной системы,
из досолнечной, довременной.
Из системы, забытой теми,
кто смеется сейчас надо мной.

ЧУЖОЙ ДОМ

Я в комнате, поросшей бытием
чужим,
чужой судьбиной пропыленной,
чужим огнем навечно опаленной.
Что мне осталось?
Лишь ее объем.

Мне остаются пол и потолок,
но пол не я в смятении толк
и потолок не на меня снижался,
не оставляя
ни надежд, ни шансов.

Ландшафт, который ломится в окно,
не мной засмотрен
и не мной описан.
В живой квадрат я до сих пор не вписан,
хотя живу шесть месяцев. Давно.

Когда уеду, здесь натрут полы,
сотрут следы кратчайшего постоа,
и памятью крепчайшего настоя
немедля брызнут стены и углы.

И дух его, вернувшийся домой,
немедленно задушит запах мой.

ЛИНИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Ветер пролетающих поездов.
Звоны провисающих проводов.
Поезда летят.
Провода гудят.
Все как тридцать лет назад.

Видно, линии железных дорог
потревожить не собрался рок.
Поезда летят.
Провода гудят.
Это век сохранил, уберег.

Видимо, они еще нужны
для пейзажа и для всей страны.
Поезда летят.
Провода гудят.
Словно бы задолго до войны.

Почему-то стальное полотно
с юностью сопряжено.
Провода гудят — обо мне.
Поезда летят — все ко мне,
как гудели и летели так давно!

Лев Смирнов

МОНОЛОГ КОСМОНАВТА

Товарищ Ленин! Мой примите рапорт.
Когда летел я в космосе открытом,
Я слышал сердца Вашего биенье
И видел это сердце наяву.
Оно пульсировало в черном небе,
Тепло, добро и ласку излучая;
И называлось нашею планетой.
Пока оно живет — и я живу!

Оно бессмертно. И все наши трассы —
Сосуды сердца этого большого,
Наполненные чистой Вашей кровью,
Дорогой звезд несущие ее.
Мы неразрывны. В организме мира
Мы — связанные накрепко частицы.
Пропитано земной октябрьской кровью
Космическое наше бытие.

Когда летел я в космосе открытом,
Когда я в люк глядел на Землю нашу,
Историю родного государства
Я созерцал наглядно, как ландшафт:
Я видел реки первых наших стачек,
Пустыни ссылок, казней и предательств,
Озера крови, пролитой недаром,
Леса единства фабрик, пашен, шахт.

Я видел всё: овраги тайных явок,
Идейных заблуждений бездорожье,
Циклоны схваток двух враждебных классов,
Народного волненья ураган,
И Волгу нашей правды вековечной,
И море нашей дружбы беззаветной,

И, наконец, Октябрьского восстанья
Великий необъятный океан.

Товарищ Ленин! Бьется Ваше сердце,
Пульсируя в огромном небе века,
И с каждым яростным его ударом
Все лучше даль грядущего видна:
Что ни удар — то новое открытье,
Что ни удар — то новая победа,
Что ни удар — то новый, юный город
Иль новая, свободная страна.

И мы бороться будем дни и ночи
За жизнь, за этот ток горячей крови,
За неустанное биенье сердца,
За молодого ритма торжество!
Мы окружим его людской заботой,
Исканьями его поднимем тонус
И обовьем надежными бинтами
Дорог и трасс космических
его!

Бессмертно это сердце.

Знайте, люди!

Когда лечу я в космосе открытом,
Я вижу это трепетное сердце,—
На нем скрестились млечные пути...
В огромном Мавзолее Мироздания,
Среди ночных приспущенных созвездий,
Оно лежит и неустанно бьется,
Как в чистом небе,
в ленинской груди!

Алексей Смольников

* * *

— Дышите глубже. Так. Еще. Вот так...—
Мой доктор стетоскоп переставляет.
Седой чудак, что обо мне он знает?
Как я дышу?
А в самом деле — как?

Я никогда не слушал, как дышал.
Наверное, дышалось мне неплохо;
В твой крестный час —
Не дай соврать, эпоха! —
Я от твоих полков не отставал.

— Простуда?
— Да, наверно, простывал.
— Курил?
— Курил. Вкусна была махорка,
Когда с высот Зееловских, с пригорка
Берлин на горизонте проступал!

— Одышка?
— Доктор, ветры всей Земли
С сиренью вешней,
С гарью,
С горьким дымом —
Мы пили их!
Мы были молодыми,
Мы надышаться миром не могли!..

Когда б все это было не со мной,—
Прости меня, старик, за простодушье,—
Не от одышки б умер,
От удушья,
Как рыба та, что выбросил прибой!

ТВОРЧЕСТВО

Всю душу разодрав на клочья
и каждый нерв растеребя,
я погибал сегодня ночью —
я перечитывал себя.

Убог мой слог, и мысли плоски,
и строки шатки, как мостки,
и нет картин — одни наброски,
и красок нет — одни мазки.

Слуга чернильницы пузатой,
лишенный божьего огня...
...Но утром замысел внезапный
пронзил, как молния, меня.

Я невезучий, может, с детства,
но есть же хватка и нутро,
и вот сейчас-то, наконец-то
схвачу Жар-птицу за перо!

С моей души упали гири
и прояснилась голова:
пришли единственные в мире,
неповторимые слова.

Мой друг читатель, тише, тише,—
ведь все, о чем ты в этот миг
едва подумал,— я услышал,
ты углядел — а я постиг.

Честны во всем, в большом и в малом,
правы, как истина права,
стоят в порядке небывалом
великой точности слова.

Они стоят в строю построчном,
одно притерто к одному...
...Я знаю: следующей ночью
я вновь в отчаянье пойму,

что слог убог, и мысли плоски,
и строки шатки, как мостки,
и нет картин — одни наброски,
и красок нет — одни мазки.

А что же есть? Перо Жар-птицы,
погоня вечная за ней
и счастье ликовать и злиться
над бедной строчкою своей...

* * *

Мне от Москвы до той речушки Стикса
шагать осталось, может, полверсты...
Поэзия, прости! Я суетился.
Служенье муз не терпит суеты.

Не с вещмешком — с эпохой за плечами
я торопился в главные бои.
— Давай, давай! — торжественно кричали
прорабы и ефрейторы мои.

Я звездный путь чертил не по Вселенной —
по фронтовой двухверстке проложил,
и нуждами народонаселенья
я мерил век и повседневно жил.

Прости меня,— я не был полководцем,
был рядовым стрелкового полка,
стихи писал... И вряд ли в них найдется
хотя б одна бессмертная строка.

Но в час ухода, в глупый миг последний,
я буду верить слепо и спроста,
что всех стихов весомей и бессмертней
прожитых дней святая суета.

В ней жили мы, ответственные лично
за всю планету и любую пядь,
и, оставляя статуям величье,
спешили там, где им потом стоять.

Татьяна Сырыщева

* * *

Кто-то голосом, полным тревоги,
по-лосиному крикнул: «Беда!»
Подорожник бежит по дороге,
сам не зная зачем и куда.
Ничего не случилось, все тихо,
и тревожиться здесь ни к чему.
Просто-напросто сына лосиха
осердясь поучила уму.

Пахнет медом, трава колосится,
голубеет лишайник на пне.
В красных кофтах из свежего ситца
земляничины вышли ко мне.
Я ложусь на обсохшую землю,
колокольчиков слушаю звон...
Лес мой, вечный мой друг, ты ко всем ли
этим добрым лицом обращен?

Владимир Соколов

ХЛЕБ

Зима. Бочком из переулка
Выходит, звякая, трамвай.
На тумбах снег. Он — то как булка,
А то как пышный каравай.

Свежо и холодно под небом.
Круглы и мягки облака...
Да бог с ним, с этим белым хлебом,
Хватало б черного пока.

Я помню хлеб.
Уже не будет
Такого хлеба никогда.
Пусть даже затемно разбудят
Еще неизвестные года
Тяжелым ходом эшелонов.

Я помню хлеб сладчайший тот,
Что до отмены всех талонов
Я получал за день вперед.

«Везут! Везут!...»
Фургон тащился,
Снег под полозьями звенел.
О этот хлеб! Как он крошился,
Как на морозе руки грел.

О эти волны снегопада!
О позабывшаяся честь,
Что мне, как будто так и надо,
Как всем тогда, хотелось есть.

Мы родины не выбирали.
Но если б выбор был у нас,

* * *

Черные ветки России
В белом, как небо, снегу.
Эти тропинки глухие
Я позабыть не смогу.

С веток в лесу безымянном
Падает маленький снег.
Там, в отдаленье туманном,
Тихо прошел человек.

Между сугробами дровни
Прошелестели едва...

Я б выбрал только эти дали,
Иных не мысля про запас.

Гуляют вьюги. Едут люди.
Гудят под скорыми мосты.
В ожогах неба, как в полуде,
Взывает спутник с высоты:
«Не уставай! Спеши! Со мною
Соотноси, поэт, свой путь.
Земли не чужа под собою,
Всю землю чужа под собою,
Но лишь искусственным не будь».

Зима. Бочком из переулка
Выходит, звякая, трамвай.
На тумбах снег. Он — то как булка,
А то как пышный каравай.

А я слежу, как, выйдя в небо,
Превысив сказочный лубок,
Дитя родительского хлеба,
Витают этот колобок.

Пусть даже затемно разбудят
Еще неизвестные года...
Я помню хлеб.

Уже не будет
Такого хлеба никогда.

Несут хозяйки булки, сайки.
Но песня за душу берет —
И я на той военной пайке
Опять живу на день вперед.

Белая ель, как часовня,
Ждет своего рождества.

Эти проселки седые
Я позабыть не смогу.
Белые ветки России
В синем, как небо, снегу.

Острое выставив ушко,
Белка, мала и бела,
Как часовая кукушка,
Выглянула из дупла.

БОЛЕЗНЬ

Третий класс. Температура.
Значит, в школу не идти.
Апельсин. Лимон. Микстура,
Сладковатая почти.

Полежим тихонько дома,
Порисуем для себя,
Почитаем «Детство Тёмы»,
Книжки умные любя.

Ишь как холодно снаружи,
Как там свищет и метет.
Как тепло! Хотя все туже
Окна стягивает лед.

Как тепло. Как небывало
Многоточия растут.
С головой под одеяло —
Спрячься, съежься, не найдут.
Жар проходит... Вяло, вяло
Дни с картинками
Бегут.

Звонко шаркает терраса.
Бьет сосулька по ведру.
Капитана Гаттерасса
Приключения беру.

Впечатленья производит
Все, где шум, отвага, звон.
Одноклассница приходит:
Навещает. Я влюблен.

Я лежу такой красивый,
Как солдат, что ранен был.
Говорит она: «Счастливый!
Две контрольных пропустил.

Находилась, научилась.
Заболею к декабрю!»

Я рисую «Наутилус»
И на память ей дарю.

* * *

Дышала беглым холодом вода.
Осенний ветер горек был на вкус.
Неву оставив, мы сошли тогда
У самой Академии искусств.

В тени сидели пары. Млели мхи.
Ветвистый сумрак сверху нависал.
И я тебе рассказывал стихи,
Которых я потом не написал.

* * *

Я не хочу бросать пустую тень
На нынешний благословенный день.
Но все же я хочу сказать любя,
Что есть во мне порою две боязни:
Одна за нас, другая за тебя.
Я краткость лет встречаю без приязни.

Хочу сказать, что я люблю дома,
Ночным снежком подчеркнутые окна,
Подчеркнутые, как твои слова
В твоей записке,— легким фиолетом,

Люблю рассвет, люблю зимой и летом.
Люблю фонарь на старом пустыре.
Снег набекрень на этом фонаре.
Над белым снегом красный кран подъемный.
Люблю тебя за этот мир огромный,
За то, что в нем и ты, и свет, и тьма.

Люблю боязнь остаться без апрелей,
Люблю боязнь тебя не заслужить.
Без этих лип, домов, снегов, капелей,
Когда скончаюсь, как я буду жить?

Николай Стефанович

* * *

Горит закат, и вечер бледно-розов,
А сквозь туман, преградам вопреки,
Зовут куда-то дальних паровозов
Просторами промытые гудки.

Внезапный свист, как ток, прошел по нервам.
Всего, что чувствую, не передашь...
Быть может, этот зов услышал первым
Какой-то древний предок наш?

И в этот миг тоска его слепая
О вечном счастье в сказочном краю,
Тысячелетья вдруг пересекая,
Сквозь жизнь проносится мою.

* * *

Я невозможной встречи жаждал,
Я путеводной ждал звезды...
Так в жизни любят лишь однажды —
И двор любой, и камень каждый,
И все скамейки и сады.

Но где и как прорваться к чуду,
Какой довериться звезде?
И я искал тебя повсюду,
А ты в ту ночь была везде...

* * *

Мы прятались, в саду желтела осень...
Прошли года, но миг минувший цел,
И мячик тот, что я тогда подбросил,
Еще упасть на землю не успел.

Еще лучи на той же спинке стула,
И, может быть, вбегая в этот сад,
Ту бабочку, что только что вспорхнула,—
Вспугнули мы сто тысяч лет назад.

Людмила Татьяничева

БАРРИКАДЫ

Тот, кто в слове
Видит только слово,
Тот словам не верит ни на грош.
Я в хорошем
Не ищу плохого,
К правде не примешиваю ложь.
Если небо тучами забито,
От грозы не прячу головы.
Заявляю недругам открыто,
Как мой пращур:
— Я иду на вы!

...Есть бои,
Когда на баррикадах
Побеждает слово,
Не картечь.
Для меня превыше нет награды
Словом-песней родину беречь.
Если это станет не по силам,
Если рухну,
Будто сноп огня,
Я скажу тогда моей России:
— Если можешь,
Не забудь меня!

Леонид Темин

* * *

...Так поверила в меня!
Я теперь, пожалуй,
Застрахован от огня,
От любых пожаров.

И на много долгих лет
Я спасен, как в детстве,
От житейских малых бед
И стихийных бедствий.

Мне — как пристань кораблю
Наш ночной этаж, но
Не скажу тебе: «Люблю»,
Потому что — страшно.

Лучше сохнуть по мне,
Лучше в плаче биться
На Путивльской стене
Раненой зегзицей,

И молением твоим
(О мотив исконный!)
Я укроюсь, невредим,
От любой погони,

С палочкой — что с посохом,
Неподвластен горю,
Я пройду, как посуху,
По любому морю...

Время — браге, пирогам,
И не время — плачу:
Я швырну к твоим ногам
Пленную удачу,

Светлой ночи, темна дня
Будет мало, мало...

Только б верила в меня,
Не расколдовала!

Мария Терентьева

ЗИМНИЙ ЛЕС

Березы постигают вышину.
И ты один
в белесых дебрях леса,
помедли чуть, послушай тишину,
мохнатую, как снежная завеса.
Угрюмый лапник с белой бахромой
не шелохнется.
не взметнется птица,
и свет дневной, как водится зимой,
из окон неба нехотя струится.
Прикрыли сосны елочек-подруг,
заснувших лебедей в лесном заливе,

все стройно и торжественно вокруг
и в тайной музыке несуетливо.
Уходишь ты в морозный мир души,
где прошлое — подлесок
завороженный.

Десятилетия, не пригнув вершин,
живут в сугробах памяти тревожной.
Зовешь — и откликаются снега.
Ты слышишь бег времен,
под павшей хвоей
дыханье чутко спящего роста,
как обещанье времени живое.

Дина Терещенко

РУССКАЯ МАМА

Норвежским патриотам Марии и Рейнгольду Эстрем, награжденным орденами Отечественной войны первой степени за мужество, проявленное при оказании помощи советским военнопленным.

Тянутся снежные версты...
Скорее бы их одолеть!
Марию на перекрестках
подстерегает смерть.

Тянет тяжелые сани
женщина средних лет.
Ей бы сидеть с вязаньем,
дома стряпать обед.
По улицам танки грохочут,
по улицам ходят враги.
Землю норвежскую топчут
фашистские сапоги.

Да, это земля твоя,
но на земле твоей
гибнут сейчас сыновья
таких же, как ты, матерей.

Воют военные ветры,
подстерегают людей.
Тянутся километры
к баракам концлагерей.
Куда ни пойдешь — караулы,
куда ни свернешь — патруль.
Мария не повернула,
не испугалась пуль.

Куда ж ты идешь, Мария?
Поймают тебя, — казнят!
Да. Но в далекой России
сына заждалась мать.
И тянет тяжелые сани
женщина средних лет.
Ей не сидится с вязаньем.
Горек ей, горек обед.
Сотни сынов России
у доблестной «русской мамы»
(так ее окрестили
русские парни, сами).

Жизнью своей заслужила
звание это священное!
Необычайная сила —
в женщине обыкновенной.

ДЕРЕВО

Осень с дерева листья срывает,
раздевает его,
разувает,
и под непогоду
под свирепую
стой и выстой,
осень требует.

И который год,
как положено,
под снегами оно
запорошено.

А придет апрель,—
наливается,
зеленинкой глаз
улыбается.

Даже веточка
тополиная
осень выстоит,
зиму длинную.
Ну а я-то что ж,
иль не выстою
эту непогоду,
осень мгlistую?

Николай Тихонов

У КОСТРА

У костра, в саду, после прогулки,
Задремав, увидел: я в горах,
Будто я сижу за старым Гулом,
У ночного сванского костра.

На зеленой маленькой поляне,
Перед ней встает, как призрак, лед,
Тень большая Миши Хергиани¹
По стене по Ушбинской идет.

Искры блещут, по горе маячат,
Точно ночи скальная тоска,
Точно все снега беззвучно плачут,
Вздых лавин лова издалека.

Камнепад разрушил ревом грома
Тишину приснившихся громад,
Смел он сванский мой костер
знакомый,
Что горел так много лет назад.

Сонную смахнул с лица я одурь —
А в саду костер как слюдяной,
Тих и мал, мои зато уж годы
Выше сосен встали надо мной.

¹ Мировой чемпион альпинизма Миша Хергиани погиб в Итальянских Альпах летом 1969 года.—*Примечание автора.*

Исай Тобольский

ПИСЬМО

Давным-давно
Его на свете нет,
Того русоволосого солдата...
Письмо плутало
Двадцать с лишним лет
И все-таки дошло до адресата.

Размытые годами, как водой,
От первой буквы
До последней точки,
Метались и подпрыгивали строчки
Перед глазами женщины седой.

И память молчаливая вела
По ниточке
Надорванной и тонкой...
Она в письме
Была еще девчонкой,
Еще мечтой и песенкой была.

И вот она с письмом наедине.
Еще в письме
Он шутит и смеется.
Еще он — жив.
Еще он — на войне.
Еще надежда есть,
Что он вернется!

Леон Тоом

[1921—1969]

НОВЫЙ ДОМ

Построят скоро новый дом
в два этажа — с подвалом,
с балконами, и с гаражом,
и с арочным порталом.

И прочен, и на вид хорош,
и миленькой расцветки...
Ты в нем на славу заживешь,
как птица в новой клетке.

А там когда-нибудь и мне
пошлет судьба удачу,
и я от шума в стороне
себе построю дачу.

Под вечер будем приглашать
друзей на чашку чая,
клубникой будем угощать:
— Своя — не покупная.

А после ринется сосед
сквозь комнату анфиладу,
сквозь кухню, спальню, кабинет —
заводит до упаду.

Придет в восторг от потолка,
от кресел, от кровати,
от люстры...
а тебя тоска
нежданная охватит.

Тоска по чаще у пруда
и по аллеям темным,
по той былой поре, когда
мы были так бездомны.

Как прочно сложена стена
меж той порой и этой!
...Ау, счастливая весна!
...Ау, бездомность! Где ты?

1957

Шла молодая мама с мальчиком,
шла робко и недоуменно,
а он тащил ее и пальчиком
на цель указывал степенно.

Указывал на зданье школьное,
куда явиться полагалось,
а нам лицо его довольное
каким-то призрачным казалось:

— Так это к нам, к солдатам, в гости-то
такой серьезный человечек?
Мы в зданье размещали госпиталь,
и в школе был один директор.

Он не обидит тем не менее
мальца — запишет в класс чин чином,
вот только не начнет учения
по историческим причинам.

А маме, нелегко признаться ей,
что завтра не ученью время,
а странствиям в эвакуации,
бомбежкам, карточной системе.

Но как решишься объяснить ему,
что завтра быть кровавым бедам?
Нет, лучше жить его понятиями
и так идти за сыном следом.

...Главврач искал крючки на кителе,
застигнут приступом одышки...
И все мы вдруг себя увидели
в том страшно деловом мальчишке.

Не до видений было вроде нам,
но в девочке почти, в той маме,
увиделась нам наша родина,
что шла в тревоге вслед за нами.

1956

ТАРТУ

На свете есть город чудесный,
так мал он, что сыт пирожком,
что весь помещается в тесной
кофейне с бумажным флажком.

Он осенью весь на пригреве
и с горки на горку бежит,
он, может быть, даже и древен,
но лекции слушать спешит.

«Шуршал под каретою гравий...»
А впрочем, оставим графинь!
Шуршала листвою Валликравы,
и с арки звенела латынь.

Вилась Валликравы не быстро —
привык этот Ров Крепостной
к неспешным прогулкам магистра
из университетской пивной.

Он думал: «Пречистая дева!
Теории все же мертвы,
а жизнь — это истины древа
и вечнозеленой листвы...»

Но чтоб не вредить распорядку
движенья небесных миров,
таил он ночную догадку
от шустрых своих школяров.

Однако же острым на диво
у города было чутье:
он любит за кружкою пива
скрывать прилежанье свое.

Стыдясь своего трудолюбья,
он выставил лень напоказ
и в светлом студенческом клубе
бездельникам место припас.

Приносят им кофе — по чашке
и каждому по пирожку.
За это на белой бумажке
они сочинят по стишку.

Придумают по откровенью,
по истине непрописной,
чтоб завтра в другую кофейню
спуститься под шелест лесной,

под шелесты Рва Крепостного,
где каждый повторный излом,
открывшись, торопится снова
исчезнуть за новым углом.

1962

В ЧЕТЫРЕ ЧАСА УТРА

Может, и позабудутся
прошлые вечера,
но только не эта улица
в четыре часа утра.

Нежится город теплый
в роскоши пустоты.
Сонные ловят стекла
отблески наготы.

Чего никогда не будет,
хотя и могло бы быть,

лежит на асфальтовом блюде,—
осталось лишь посолить.

Ты переходишь площадь,
а с площади каждый дом
стыда и совести проще
тебе говорит о том,

что эти часы не старятся,
не состарятся никогда,
а прочие разбазарятся
на месяцы и года.

1956

ВОДОПАД КЕЙЛА-ЙОА ¹

Могучий и непререкаемый
гудел над нами водопад.
В том чуде было два слагаемых:
поток воды и перепад.

Все это было соразмерно
без логарифмов и рейшин,
и понимали мы: уверенность
немногих требует причин.

Пусть не было того и этого,
пускай условия не те,
он падал, падал и не сетовал
и был всегда на высоте.

Он знал, что главное — не пятиться,
а смело рушиться в провал,
и после каждого препятствия
самозабвенно пировал.

Он, в русле клокоча порожилом,
самоубийством не грозил
и поражал отнюдь не множеством,
а только собранностью сил.

Забыв про правила приличия,
широкоплечий водосброс
работал только для величия,
не спрашивая, есть ли спрос.

Он вслушивался в гул призвания
и был к другим призывам глух.
Одно его существование
людской раскрепощало дух.

1963

¹ Водопад в Эстонии.

Николай Тряпкин

* * *

Не хватает грома для раската,
И тесно для славы проливной...
Как прошли по улице солдаты
Да по всей по гулкой мостовой.

И привстали плотники на срубках,
А репейник вспыхнул, как тюльпан,
Лишь вот так — всю рванули трубы
И с тарелкой бухнул барабан...

Ты не спишь иль спишь, моя Любава?
И какой ты, краля, видишь сон?
Не с веков ли давних Святослава
Пред тобой гремит сей гарнизон?

Иль не помнишь час тот на рассвете,
Как пошли мы с князем за Дунай?

И не в сто ли труб гремели кмети,
Воздусей хвативши через край?

И стояла ты в конце заставы,
И вот так же — снилось наяву,
Как знамена падали на травы,
А потом — в легенды и в молву.

И не все ли Шипки и Карпаты
Уходили травами в народ?
И прошли, протопали солдаты
Через душу всю — из рода в род.

И грохочет Слово, как былина,
Замешавшись ветром и водой.
И прошла, протопала дружина
Да по всей по нашей мостовой.

АЙ ЛЮ...

Ивану Дремову

Я на красную горку в ночи выходил,
И подслушивал говор неведомых сил,
И на теплом юру, да при лунном огне,
Выводил на свирели красотке Весне:
— Ай лю...

Не она ли стояла средь гулких полей?
Под венком журавлиные крылья бровей,
А вокруг, доносясь, как дымок, из-за риг,
Замирал петушиный глухой переклик...
— Ай лю...

Пятитонкам, идущим со всех большаков,
Не она ли сигналила парой флажков?
А в машинах — подарки, цветы, семена...
Золотой караван! Золотая Весна.
— Ай лю...

Эти брови, поднявши двукрылье свое,
Подхватили замлевшее сердце мое,
Журавлем над полями взметнулись они,
Уносили меня в запредельные дни...
— Ай лю...

Так неслышно, незаметно,
А свершилось — как должно:
Ухнул филин в час рассветный,
Села белка под окно.

Села — прямо на соломе,
Только ветер хохотнул,
Только мальчик в тихом доме
Третьим сном уже заснул.

И в какой-то заворошке
То ли сказок, то ли мух
Пропустил он, как в окошке
Задымился сизый пух.

А поутру стало ясно,—
Что хотели, то пришло:

Села белочка на прясло —
И скакнула чрез село.

И завьюжилась криница,
Запушились провода,
И заехала в рукавицы
Вся курносая орда.

А в окошко бьет куделью.
Что тут делать, как тут быть?
Сел я в угол за постелью,
Стал веревочку крутить...

Замутило, понадуло,
Залохматилось кругом.
Это белочка махнула
В поле дымчатым хвостом.

Виктор Урин

ВЕНОК СОНЕТОВ

1

Воистину История решала
сложнейшую задачу всех веков.
От перевала и до перевала
шла революция большевиков.

Она мятежно и разноязыко
внушала, что ни бог и не герой,
а только он — хозяин и владыка,
страны своей Великий Рядовой.

В шинели шел, в лаптях или поддевке...
и рыскали жандармские подонки,
а он крушил и сбрасывал царя.

И, веря той молотобойной силе,
декреты чрезвычайные спешили
его направить в кузню Октября.

2

Его направить в кузню Октября
спешил XX век, и, как в горниле,
пылала всероссийская заря,
которую восставшие гранили.

Гранили тем, что высказался крейсер,
гранили до победного конца,
гранили так, что вышибло из кресел
всех вре́менщиков Зимнего дворца.

И рядовой, на новом рубеже,
упрочил власть Советов и уже
вошел в Москву с мандатом комиссара.

И купол зданья, где работал ВЦИК,
ему напоминал в какой-то миг
лоб с очертаньями земного шара.

3

Лоб с очертаньями земного шара
смотрелся в каждой домне той поры,
когда после гражданского пожара
не уставали кашлять топоры.

Средь голодухи и бараков тифа,
по стройкам, по лесам авральных дней
всходил ударник, словно бы из мифа,
в цемент впечатав крестики лаптей.

Еще в метели куталась усталость,
но Родина уже преображалась,
раздымленными далями маня.

Казалось, постепенно потеплели
и небеса, и нивы в акварели,
и в зорях темно-карие моря.

4

И в зорях темно-карие моря
рождались у Днепра и в Каракумах,
и флагманы бросали якоря
в индустриальных, в дерзких наших думах.

И с чертежей к своим причалам шли
Кузбассы, и Магнитки, и Турксибы,
и, словно в шторме, мускулы земли
передвигались, как морские глыбы.

Рабочий класс и креп и молодец,
и рапортами тех былинных дел
шли наши праздники у Мавзолея.

И в эту площадь дружной новизны,
как в герб, вплетались — именем весны —
колонны, точно лава пламенея.

5

Колонны, точно лава пламенея,
соединялись в солидарный сплав,
которым властно двигала Идея —
свое предназначенье осознав.

(Бьют клеветой ее! Еще ударней:
коварством фунтов, долларов и лир,
но мысль куда властительнее армий,
Идеи — громче пушек на весь мир!)

Среди шовинистических идей,
штыков и тюрем, голода и денег
был гимн Идей — «Интернационал».

И он дышал, работал точно домна,
и мы ему осознанно, огромно
ответно отдавали свой металл.

6

Ответно отдавали свой металл
и ты, и я, и он — короче, все мы,
и каждый стал строкою из поэмы,
которую нам век предназначтал.

И пусть (не очень четкая вначале)
была палитра чересчур пестра,
но от души, культуры мастера,
мы юную эпоху рисовали.

Пусть зерен было меньше, чем борозд,
но все же каждый был не так уж прост,

и, огненной профессией владея,
взлетал-горел искринкою живой,
и счастлив был, что он мастеровой,
мастеровой с отвагой Прометейя.

7

Мастеровой с отвагой Прометейя,
ваятель грандиознейших работ,—
планируя, отстраивая, сея,
не ты ли это, трудовой Народ?

Тайгу и горы по-хозяйски тронув,
ты шел как испытатель и прораб,
и вот чему равнялся твой масштаб:
в одном усилыи — 200 000 000.

Ты стал первопроходцем увлеченным —
пилотом, метростроевцем, ученым,
ты подымался, как девятый вал.

Сердца мужали, делались богаче,
и ты, Народ, кузнец своей удачи,
у горна пламя братства раздувал.

8

У горна пламя братства раздувал
Союз Республик — детище Советов.
Разноплеменный горный перевал.
Хребты высоких ленинских заветов.

И всеми языками это пламя
вело добрососедский разговор,
одаривая светом равноправья
и согревая родственный простор.

И виден был за тридевять морей
огонь, родившийся в стране моей,
и злобствовали умные тупицы,

но под ветрами клеветы и лжи
от нашего огня за рубежи
летели искры в дальние темницы.

9

Летели искры в дальние темницы...
Уже фугаски фюрер посылал...
— Эссэсовцы! — Насильники! — Убийцы!
«Рот фронт!» — неслось, и вслед — «Но па-
саран!»

Мир капитала (до чего же узок!)
считал, что несогласных в тюрьмы сгреб,
а между тем он сам, как вечный узник,
был за решеткой возмущенных толп.

И растлевал молитвенный дурман,
и многоствольный крупповский орган
хоралом смерти грянул у границы.

И повалило с вероломных круч
нашествием бронированных туч,
едва пробилась первые зарницы.

10

Едва пробилась первые зарницы —
пополз гремющий дым от батарей,
и солнце, над рекой смежив ресницы,
казалось, не проснулось для людей.

И вовсе не виновен был Солдат
в том раннем отступлении проклятом,—
ведь ни единой пулей не солгал,
когда в беде ответил автоматом.

Он кровью истекал. Мрачнели думы.
А где-то за морями толстосумы
зловеще наблюдали: кто — кого...

И пусть Солдату приходилось туго,
пусть обожгла осколочная вьюга —
но он уже предвидел торжество.

11

Да, он уже предвидел торжество
возмездием — карающим и чистым,
а не вернулся он, так вы его,
пожалуйста, считайте коммунистом.

Но если он шагал как Политрук —
за рубежом он равен был полпреду,
к нему тянулись сотни тысяч рук,
чтобы в его лице — обнять Победу.

Шел Политрук среди жестоких гроз,
свое свеченье праведное нес
для немца, для румына и для чеха.

Шел Коммунист как признанный вожак,
и как трибун сплоченности, и как
интернациональный гений века.

12

Интернациональный гений века.
где б ты ни жил — ты убеждаешь всех:
кто коммунизму пожелал успеха,
тот и своей стране несет успех.

Тебе молчать под пытками, железясь,
тебе народ свой подымать с колен,
на крышах мира ты — Манолис Глезос,
на рельсах мира ты — Раймонда Дьен.

Тебе — счастьепроходчику Земли —
спуститься в ад, подняться до петли,
твой каждый шаг — событие и веха.

О сказочник хрустальнейшей мечты,
в непримиримых бурях — только ты
надежда и доверье Человека.

13

Надежда и доверье Человека
и ты, многострадальная Москва,
отзывчиво звучащая, как эхо,
столица пролетарского родства.

Подняв краснознаменные рассветы,
Историю в грядущее креня,
ты провернула колесо планеты
зубчатками весеннего Кремля.

Как в трубке кимберлитовой алмазы —
в тебе, Москва, искрящиеся массы,
и ты гранишь — упорно, нелегко...

Моя удача, нежность и отвага,
мой кровный цвет, струящийся от флага,
ум и душа столетья моего.

14

Ум и душа столетья моего —
великий человек был прост и сложен.
Он жил как щит. Как бдительность из ножен,
один за всех, как все мы — за него.

Мы нежно говорим о нем: «Отец» —
и, дату по-семейному отметя,
припомним все — начало и конец —
и нелегальных три десятилетия.

И те, в изгнании, пятнадцать лет.
Какой же сверхвысоковольтный свет
он излучал, сгорая от накала!

А чтобы в бурях отогреть людей
и чтоб светить ему планете всей —
воистину История решала.

15

Воистину История решала
его направить в кузню Октября.
Лоб с очертаньями земного шара
и в зорях темно-карие моря.

Колонны, точно лава пламенея,
ответно отдавали свой металл,
мастеровой с отвагой Прометейя
у горна пламя дружбы раздувал.

Летели искры в дальние темницы,
едва пробилась первые зарницы,
но он уже предвидел торжество.

Интернациональный гений века,
надежда и доверье Человека,
ум и душа столетья моего!

Владимир Файнберг

ТОВАРИЩУ РАМОНУ Л.

По обычным делам
вел московский маршрут.
И вдруг на Тверском
мне сказали:
— Салюд!

В широком плаще,
однорукий,
седой,
он шел с непокрытою головой.

И сердце забилося,
товарищу радо:
— Салюд, камерадо!
— Салюд, камерадо!
Ты слышал —
в Астурии забастовка! —
...И разом листва
превратилась в листовки —
вдохнул я грозовую атмосферу
забот эмигранта-революционера.

О верность железная
красным знаменам —

в Испании
руководил батальоном.
А после разгрома,
потери руки
он был командиром
французских маки.

О тюрем его
боевые этапы —
франкисты,
петэновцы
и гестапо.
И хоть гестапо
работать умело —
из легких
одно
все равно уцелело.

Он в легкое это
воздух вобрал:
— Давай-ка споем
«Интернационал»!
**«ВСТАВАЙ, ПРОКЛЯТЫМ
ЗАКЛЕЙМЕННЫЙ!»**

ЛЕТНЯЯ НОЧЬ

Чудо жизни длится,
движется рассказ.
Небылицы в лицах
окружают нас.
Вот прошел рабочий.
Вот звезда горит.
Лица летней ночи
тянут, как магнит.
Лик Луны над ними,
над волчком Земли,
где авиалиний
трассы пролегли,
где, презрев кочевья,
суету, слова,
тянут сок деревья,
тянет сок трава.
И прилив подлунный
катит океан.
...Дремлет мир, как юный
капитан.

Илья Фаликов

УТРО

О, небо неприкосновенно!
Священны голубые вены,
и голубая кровь чиста.

Беспечных ласточек чета
врезает небо. Жизнь мгновенна.
О, небо неприкосновенно!

Трепещет месяца листочек
в источнике. Звенит источник.
Где ложь? Где блажь? Где суета?

Мы канем. Нам придут на смену.
О, небо неприкосновенно!
Беспечных ласточек чета...

ОСИНОВКА

Осиновка! С утра кричали куры,
не оставляя петухам ролей.
Вчерашняя вгрызалась абитура
в науку дынь и палевых полей.

Девчонки собирали огурцы,
картошку, кукурузу, помидоры.
Склонясь над полем, подоткнув подолы,
шли за селом они во все концы.

Им не жалело солнышко огня.
А по ночам, под звездами, до дрожи
тогда еще невинного меня
тревожил запах загорелой кожи.

В конюшне ночевали мы. Едва ль
мы спали эти ночи. В душном сене
там жеребец по имени Хрусталь
ворочался, храпел во тьме осенней.

Его поутру конюх объезжал,
гонял по кругу, плетью обжигал,

ржал жеребец, и я, никем не прошен,
вскочил с разбегу на спину его
и был молниеносно наземь сброшен,
все ребра ощутив, до одного...

И вот я — «инвалид». Тржусь на кухне.
«Дубинушку» горланю, с криком «ухнем!»
колю дрова меж утренней росы,
а перед тем с дружкой хорошим Саней,
не глядя, обменялся я часами,
и по запарке я стряхнул часы.

Остановилось время! Посмотри —
в Осиновке какое было время!
Я жду, Хрусталь. Я вставлю ногу в стремя,
и мы с тобой умчимся до зари!

Ты, если хочешь, даже сбрось меня!
Прильну к земле, во мгле, как невидимка.
О силуэт летящего коня,
и пар с полей, и молодости дымка...

СВИНЕЦ

На Японской сопке спозаранку
разведу в пещере костерок,
из-под обувного крема банку
отыщу и отолью биток.

Ни циклона нет и ни цунами!
Для битков свинцовых, у крыльца,
специально нами, пацанами,
был устроен целый склад свинца.

— Цок! — кричит мой голос и поныне.
Руки жжет биток, отлитый мной.
Ноги жжет крапива. От полыни,
от полыни я хожу чумной.

О, когда дождусь захода солнца
и во сне увижу наконец,
как послевоенные японцы —
пленные — смотрели на свинец?..

Горе — не беда, беда — не горе!
Жизнь моя, крапива и полынь!
Завтра старший брат вернется с моря,
привезет китовый ус и лить.

Выбегу я к бухте спозаранку.
Ах, какая теплая вода!
Майку надеваю наизнанку,
но не буду
битым
никогда.

Виктор Федотов

* * *

Вспоминаем
до сих пор:
Первомай,
над Красной площадью —
«Ньюпор».
Он летел,
воздушный представлял
парад,
поглядел
товарищ Ленин,
говорят.
Был прослежен,
сердцем понят
его взгляд...
И тележный
стал народ
крылат.
С гулом-шумом
реактивных
столько стрел!
Одна дума —
вот бы Ленин
посмотрел!

К БИОГРАФИИ МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Упиваясь легкостью игры,
«мессер» виражил, как на ученье...
Самый юный воин ополченья
трехлинейкой голову прикрыл.

Подстерег его неожиданный случай —
заменить каникулы войной,
бил он в небо пулею шальной,
воинскому делу не обучен.

Падал. Поднимался. И по росной,
по земной карабкался коре...
Весь в садах зеленый Рославль
на его глазах чернел, горел.

Был в блокаде. Видел горы зла.
Всякое случалось с ним и было.
Никакая сила не взяла,
никакая пуля не убила.

С школьных лет приверженный
Поэзии,
он познал до тонкостей в бою
воинское дело, как профессию,
и остался навсегда в строю.

Армии отдал он годы лучшие,
для того и воевал и жил,
чтобы над мальчишкой необученным
никакой стервятник не кружил.

Николай Флёров

ДУМА О СЕВАСТОПОЛЕ

Волна у берега просторного
Поет мне снова песнь свою.
Как в давний день, у моря Черного
С воспоминаньями стою.

Они являются, несмелые,
И память сердца им тесна.
То не от вас ли, гребни белые,
К вискам припала седина?

Я помню улицу весеннюю,
Где пели горны-соловьи,
Когда от памятника Ленину
Мы шли на палубы свои.

В судьбе какие сыщешь правила?
И вот в снега, в шторма, в метель
Она негаданно направила
Меня за тридевять земель.

Но даже там, почти у полюса,
Я посреди немолчных вьюг
Твоей тревогой беспокоился,
Дышал твоим дыханьем, юг.

И там, где море беспредельное,
Где Ледовитый океан,
Была со мною Корабельная,
Малахов сказочный курган.

Потом, пройдя стезей тернистою,
В час наступательной поры

Я отдал песню голосистую
На первый штурм Сапун-горы.

И в майский день под пулеметами,
Где наш огонь врага крушил,
С освобождающими ротами
Я к морю Черному спешил.

И снились мне березка во поле,
Семья в неведомой дали
И флаг, что взвился в Севастополе,
И снова в бухтах корабли...

...Промчались дни, как воды пенные,
Десятилетия — за спиной.
Дома встречают белостенные
На каждой улице родной.

Летят валы зеленоватые
И те, что с юности близки,
Над звонкой палубой крылатые
Матросские воротники.

И нет границ у флота с городом,
И Севастополь — тоже флот,
И он в пути, ветрами вспоротом,
По знаку флагмана плывет.

И ясно видит: море вспенено.
Но твердо знает: победим.
И мы на флагмана —
На Ленина,—
Опять идя в моря, глядим.

Илья Френкель

ПАРТИЙНАЯ НЕДЕЛЯ

(октябрь 1919 года)

На коммунаров — вся надея.
Идут на фронт большевики.
Идет партийная неделя
По берегам Москвы-реки.

Идут вагранщики с Гужона,
Замоскворецкие ткачи,—
Идут легковооруженные
В худой одежке москвичи...

Шли на Тверскую, колыхая
Разнокалиберность штыков,
И Ленин, шапкою махая,
В бой провожал большевиков.

ПО ЕНИСЕЮ

Полночь, белая как полдень,
Светится поверх воды.
Незакатный шарик солнца
Тихо катится на север
Вдоль береговой гряды.

Горы кажутся холмами,
Потому что далеко:
Здесь не просто все большое,
А вели́ко,
Велико́!

В городской шумихе-давке
Думал я, что одинок:
Как букашка на булавке,
С места сдвинуться не мог.

Но магнитный зов Сибири
Притянул меня сюда,—
Где все выше, глубже, шире
Небо, время и вода.
Не тоскую, не жалею,—
Я благодарю судьбу:
Вот плыву по Енисею
В Енисейскую губу.

Я плыву по Енисею,
Пробиваюсь сквозь тайгу.
Я живу по Енисею,—
Не виляю и не лгу.
Значит, кое-что умею.
Может, что-нибудь смогу.

МУЗЫКА

Мстиславу Ростроповичу

Когда войне шел некий год
И слух померк от канонад,—
Внезапно черный небосвод
На фронт обрушил водопад.

Ветвился магниевый лес
В тяжелых хлябях. Долгий гром
Прильнул к земле, как влажный пресс,
Но кислородом, но добром
Дышала высшая из месс...

Солдаты глохли в блиндажах,
И не ко всем вернулся слух.
Распахивает почву плуг.
Распахивает душу Бах.

Струят органные стволы
То гром, то еле слышный вздох,
Чтоб я от глухоты и мглы
Очнуться и воскреснуть мог.

Евгений Храмов

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ДЕКАБРЯ

Каре Московского полка
Стоит на площади Сенатской.
Над ними злые облака
Еще не начали снижаться.

Еще рассвет, еще заря,
И есть еще на что надеяться!..
Но что-то медлят егеря,
Не поспешают лейб-гвардейцы.

Каре Московского полка —
Не Робеспьеры и Дантоны.
Каре Московского полка —
Петры, Егоры и Антоны.

Сказали им офицеры,
Что дальше так жить нельзя.

А кто они, их офицеры?
Бароны, графы, князья...

Стоят молодцы-московцы,
К стволу привинчен тесак.
Кто волки здесь, а кто овцы —
Не разобрать никак.

Кому на снегу остаться,
Кого из них в палки возьмут...
Свободолюбцы в статском
Между шеренг снуют.

Вольные слышатся речи.
Счет неизвестен годам.
И лишь через миг картечью
Свистнет по их рядам...

МОГИЛА В ДОНСКОМ МОНАСТЫРЕ

Так и прожил он век свой нелегкий,
Вольнодумец, аббат, нелюдим,
Не прося чечевичной похлебки,
Первородством лишь сытый своим.

И листы сентябррей опадают
На плиту, на которой одно:
ПЕТРЪ ЯКОВЛЕВИЧЪ ЧААДАЕВЪ.
Объяснений других не дано.

Так бы справиться с днями своими,
Чтоб, когда отзвенит колесо,
Оставалось одно только имя —
И оно объяснило бы все.

БУДИЛЬНИК

Взрывая утреннюю тишь
По праву солнечного дня,
Звенишь, звенишь,
звенишь, звенишь

И будишь ты меня.
Я просыпаюсь и дымлю
Крепчайшею махрой.
Ты знаешь, я тебя люблю,
Будильник новый мой!
Воспоминаний свет упрямя.
Во мне он не потух,
Меня в деревне по утрам
Всегда будил петух.
Будил, заботясь об одном,
Чтоб чересчур не спать!
На всем железном
и стальном
Живого есть печать!

Буди меня, звени,
пострел,
В тебе с недавних пор
Я гребень красный
рассмотрел
И очертанья шпор.
Ты скоро крыльями взмахнешь.
Я время берегу.
И звонко-звонко
запоешь:
— Вставай, кукареку!
— Звени и не жалея бока —
Стальные потроха.
Буди по праву двойника —
Живого петуха.

Александр Хмелев

В ЛЕСУ

Летними горячими лучами
Раскалилось небо докрасна.
Исчезает город за плечами
И душа спокойствия полна.

Лес со всех сторон меня обходит,
В глубину доверчиво зовет.
Сосны молчаливо хороводят,
И невидим шумных птиц полет.

И в цветах, и в травах зреют звуки,
Стебельки, не шевелясь, растут.
Тяжелеют, наливаясь, руки
Силой, что владычествует тут.

Лес насквозь пронизан тихим светом,
Как мудрец, доверчив неспроста:
Чувствую вращение планеты
В легком отклонении листа.

БАЛЛАДА О 10-м «А»

23 июня 1941 года учащиеся
10-го «А» 35-й московской школы в
полном составе ушли на фронт.

*Из донесения
Отряда юных следопытов*

Когда
десятый «А»
пошел на фронт,
и было далеко до перелома,
и девочки,
 что оставались дома,
рыдая проводили до ворот
тех, для кого
 бетон аэродрома,
теплушки,
 грязь разбитого шоссе
и пушки
 на ничейной полосе,
и отдаленные раскаты грома
простой судьбой отныне становились,—
навряд ли где-нибудь остановились
часы,
производящие отсчет
всему, что ныне значится на картах.
Лежала пыль на деревянных партах,
и вряд ли кто-то что-то брал в расчет.
Был первый день,
и двое в первый день
еще вначале выпали из списка.
А остальным
пришлось шагать не близко:
в России много сел и деревень.
Кому-то
не поставят обелиска...
Кого-то скроют Днепр или Двина.
А впереди —
война,
 война,
 война,
где ни минуты не прожить без риска,
где ты за сутки смертен раз пятнадцать
и где тебе однажды, может статься,
успеть чужую осознать вину,
успеть ударить или улыбнуться,
но не успеть назад в блиндаж вернуться,
пасть самому,
но удержать страну!

Когда
десятый «А»
пошел на фронт
и было далеко до перелома,

когда еще дорога от райкома
вела туда,
где первый поворот
(на смену чертежам, закону Ома,
задачам,
что казались так сложны,
удачам
и всему, чем до войны
болели, жили,— это вам знакомо)
поставил рейды, марши, артралеты,
бомбежки и иные переплеты,—
ребята поклялись перед рассветом
сломать орла фашистского крыло...

Не знал генштаб противника об этом.
Незнание его и подвело.

ПАМЯТЬ

Сушились тряпки на заборе,
чертили голуби круги,
а ночью в женском коридоре
стучали чьи-то сапоги.

Подрагивали доски пола,
но все старались забывать,
что гражданам мужского пола
не разрешалось тут бывать.

На тощеньком своем матрасе,
за смену выбившись из сил,
наш старый сторож, дядя Вася,
беду военную костил.

Ругался горько он и длинно,
а где-то в глубине двора

расстроенное пианино
гремело с ночи до утра.

На территории завода,
где жили мы в тот долгий год,
шла непрерывная работа,
готовил технику завод.

Тяжелые автомобили
шли в направлении «Огневой»¹,
и гаубицы плавно плыли
вдаль по дороге столбовой.

Казалось, всюду слышен запах
мазута, пороха, свинца.
Россия двигалась на запад,
дороге не было конца.

¹ «Огневая» площадка, где проводятся стрельбы при заводских испытаниях техники.

* * *

В распоряжение твое,
о ротный старшина,
поступим мы, едва-едва
пробьет урочный час.
И будет выправлен Приказ
и власть тебе дана
все честь по чести разделить
на каждого из нас.

Ты считаешь всех парней
на «первый и второй».
И будем мы молчать, застыв,
не нарушая строй.
Но как узнать нам поверней,
кто слабый, кто герой?
В какой конторе уточнить,
кто первый, кто второй?

Никто ни в чем не виноват,
никто не виноват.
Так в этом мире повелось,
что со времен Петра
мы первые всегда, но ведь
не зря у нас стоят
как будто тени за спиной
вторые номера.

И если ты поднял ступню
и совершаешь шаг,
когда трубач в трубу трубит
и призывает в бой,
и если ты уже убит
и торжествует враг,
второй упрямо повторит
все это за тобой.

Никто ни в чем не виноват...
В огне, в дыму, в пальбе —
так в этом мире повелось,
и с этим мы уйдем.
Но если ты давным-давно
безжалостен к себе,
хоть на мгновенье, хоть на миг
подумай о втором.

Весна, акации... Грачи
гуляют по стерне.
Пахучий стелется дымок
со стороны жилья.
Такая в мире тишина...
И в этой тишине
спит, зная не зная обо мне,
спокойно тень моя.

Феликс Чуев

* * *

В субботу умер маршал Рокоссовский.
Подумать только — маршал Рокоссовский!
Его-то жизнь могла бы поберечь.
Лежит он в красной, каменной могиле;
неважно — траура не объявили
хотя бы на день, — не об этом речь.

Он много делал,
и терпел немало,
и ставил во главу людской урон,
и прожил,
до конца не понимая,
что маршал Рокоссовский —
это он.

Моя держава славою богата —
двух-трех имен хватило бы на всех!

Но есть такая слава —
сорок пятый,
которую не очень помнить — грех.

И в городишке, радостью согретом,
на площади, во всю ее длину, —
цветные, из материи, портреты
всех маршалов, закончивших войну.
Они за землю потрудились очень,
и звезды их издали видны
значительным, победным многоочьем
второй великой мировой войны...

Заря дрожала, узкая, как меч.
И в тихий день, субботний, августовский,
ушел в портреты славный Рокоссовский.
Большое горе. И об этом речь.

Варлам Шаламов

* * *

Наступающим маем
Истончились снега.
И олени снимают
Свои ветви-рога.

Но деревья не станут
Подражать им ни в чем,
Раздвигая туманы
Деревянным плечом.

Они вытянут ветки,
Разожмут кулаки,
И потомки, и предки
Все гибки и крепки.

Хвою, словно перчатки,
Надевают леса,
Клейки листьев зачатки,
И шумят небеса.

ЛОДКА

Да... Как все это было?
Ее вела река
Через заносы ила
И донного песка.

И вырублена грубо
Из цельного ствола
Огромнейшего дуба
Та лодочка была.

И берег был пологий,
А лодке — не пройти.
Трудны ее дороги,
Запутанны пути.

И лодка затонула,
Завязла глубоко,
На самом дне уснула,
От жизни далеко.

И камень лег на плечи,
И — с головы до ног —
От взглядов человечьих
Ее закрыл песок.

И через пять столетий
Той лодочки скелет

При звездном найден свете
И вытащен на свет.

Над ней пришел стараться,
Находчив, бодр и смел,
Профессор реставраций,
Умелец тонких дел.

И собрана без клея,
Искусством всех наук,
Усилий не жалея,
Не покладая рук...

И видит археолог,
Что лодка та — была!
Что лодка — не осколок,
И вся она — цела.

Ту лодочку не надо
В архивный брать учет,
Учет полураспада
И проб на углерод.

В своей судьбе короткой
И днем, а не на дне,
Еще способна лодка
Служить речной волне.

ПЕГАС

Остановит лошадь конный,
Дрогнет ветхое крыльцо,
Искажит стекло балкона
Отраженное лицо.

И протянет всадник руки
Прямо к ржавому замку,
Конь шарахнется в испуге,
Брошен повод на луку.

Вслед за солнцем незакатным
Он поскачет все вперед,
Он по мостикам накатным
Перейдет водоворот.

Ради жизни, ради слова,
Ради рыб, зверей, людей,
Ради кровью налитого
Глаза лошади своей.

* * *

Вечерний холодок,
Грачей ленивый ропот —
Стихающий поток
Дневных забот и хлопот.

Я вижу, как во сне
Бесшумное движенье:

На каменной стене
Влюбленных отраженье.

Невеста и жених,
Они идут, как дети,
Как будто, кроме них,
Нет никого на свете.

* * *

Ты — учитель красноречья,
Полноводная река.
Я бреду тебе навстречу,
Вязну в осыпях песка.

Ты гремишь на перекатах,
Возвышаешь голос свой,
Ты купаешься в закатах,
Отливаешь синевой.

Вадим Шефнер

НА ПАЛУБЕ

До порта прибытья еще нам с неделю идти,
И порт отправленья далек, как забытая песня,
Сейчас середина, сейчас сердцевина пути,
Конца и начала торжественное равновесье.

За черной кормою встает океанский рассвет,
И тянет от зыби сырою травою овражной,
И солнечный луч, сквозь лиловую тучу пролет,
Скользит осторожно вдоль палубы чистой и влажной.

Как дышится юно на острове этом стальном,
И молодо солнце, и вечен простор поднебесья!..
Забудь в океане, что в долгом походе земном
Давно и навек ты ушел за черту равновесья.

ИГРЫ

Ни детского сада, ни школы,
Сто верст — ни игрушки кругом.
Мальчишки из кубиков тола
Игрушечный строили дом.

Сапер это дело заметил,
С проселка свернул и сказал:
— Опасно играете, дети! —
И отнял их стройматериал.

А год был тогда сорок пятый,
Победный, но атомный год.
У пультов дежурят солдаты,
Мир нынче и тот — да не тот.

Из вечности темных провалов
С ухмылкой глядит Сатана:
— Эй, Бог, из каких материалов
Вселенная возведена?

* * *

Вспомни эту вечеринку,
Рядом стопочки составь,
Довоенную пластинку
На проигрыватель ставь.

Холостяцкое раздолье
Возникает изо мглы,
Воскресает с тихой болью
Под уколами иглы.

И, летя от света в темень,
У бессмертья запаерти,

На стене танцуют тени,—
На паркет им не сойти.

В ритмах румбы беззаботной
Ты вдруг ритмы узнаешь
Очереди пулеметной,
Хлебной очереди дрожь.

И со свитком всадник скачет,
Вся хлоркой и золой,
И пластинка хрипло плачет
Под безжалостной иглой.

Игорь Шкляревский

* * *

Пурга за окнами мела.
Валилось дерево усталое.
Трещала синяя смола
в печи, багровой, как восстание!

Там головешки — баррикадами
отстреливались и чадили.
Там что-то пели и приказывали
и отходили, отходили...

И пламя падало, и заново
росла пальба, росла пальба.
И пламя подымалось заревом
над полушарьем лба!

И было Ленину так молодо
от чая, книг, любви и холода,
пурги и этого сияния
в печи, багровой, как восстание!

* * *

Не журавля прощальный крик
и не ярчайшее созвездье,
а то, что в этот самый миг
все вместе прожили столетье,—

вдруг озарило, обожгло,
живой печалью разбудило...
Ты ждал. И вот оно пришло,
и даль с тобой заговорила.

А если бедствия и нужды
и участь горькая других
тебе и в этот миг не чужды,
то этот миг — уже не миг.

Он год! А может, и столетье.
Он твой! И все-таки не твой.
Но только в нем твое бессмертье
в пределах жизни под луной!

ЛЕТЯТ ВО ФРАНЦИЮ ВОРОНЫ

Летят во Францию вороны,
из Львова тучами летят!
Гудит набат. Пылают кроны.
Горит закат, как будто склад.
Горит костел иезуитов
и королевский арсенал,
все в золоте! По старым плитам
идет огня холодный вал.
Пылают буки, грабы, клены,
летят во Францию вороны.
Их ждут парижские помойки,
размолвки, буйные попойки,
каналы, стоки, клейзаводы
и елисейские восходы!
И вот метут по небу кроны,

и крылья синие шумят.
Седые львовские вороны —
зачем они туда летят?
Какая в жизни перемена?
Один чужак, поклонник Брема,
печальных птиц окольцевал
и мне однажды рассказал,
что по следам Наполеона —
покоя юность не дает —
летят во Францию вороны
и там зимуют каждый год.
И вот летит над миром стая,
кружит и каркает в полях,
тем, кто забыл, напоминая
об исторических путях.

ВЕСЕННЯЯ НОЧЬ В МОГИЛЕВЕ

Как эту ночь у времени украсть?
Гул, всплески, пену, пенье ледолома,
и мокрых звезд серебряную снасть,
и черные сиянья Могилева?

В прозрачном дыме плавают дома.
Кричат грачи... Мираж в парах тумана —
твое лицо! Да, ты опять прекрасна,
и жизнь прекрасна!.. Я схожу с ума!

Мне тридцать лет. Иллюзий — никаких.
Кулак мой тверд и ясный разум весел.
Но с дня того, когда тебя я встретил,
мой каждый миг — мой уходящий миг.

И мокрых звезд серебряную снасть,
и черные сиянья Могилева
у безвозвратности отнимет слово,
но как тебя у вечности украсть?..

* * *

Ночное небо над стоянкой.
Забвения холодный дым.
С ружьем и верною собакой
я беззащитен перед ним.
Но как спасенье — блеск излуки,
пожар зари, удар кнута,—
все краски, отблески и звуки
мне возвращает темнота.
А вот и лодки, и дорога,
и лист с багряною каймой,
поникший лист чертополоха,
и блеск тенеты золотой,
и сойки перышко рябое...
Они в светящей дали
мое отчаянье ночное
растащат, словно муравьи.
И со слезами на глазах,
пока в лесах заря не сгасла,
я отряхну золу, как прах,
и повторю, что жизнь прекрасна!

Владимир Шлёнский

МОЙ ЛЕС

Я в лес уйду. Возьму магнитофон,
на пленку запишу природы шорохи.
В моем лесу еще не пахнет порохом —
в нем птичий пересвист и перезвон.

Спокойствие царит в моем лесу.
И по ночам безгрешно звезды светятся.
И медвежонок около медведицы
уснул, обняв шершавую сосну...

И пусть в лесу отчетливее грусть,
мы все равно с ним верим только в лучшее...
В траве, как микрофон, таится груздь,—
быть может, и меня природа слушает...

Степан Щипачев

НЕУЖТО ЗА ТО...

Читаю. Бывает черно на страницах.
Довольно! Пусть рушится эта стена!
Убийца Пушкина, Лермонтова убийца —
на черта помнить их имена!

Мне больно и думать про это:
спокойные,
целились наверняка.
Неужто за то, что стреляли в поэтов,
их помнить должны века?

ЭПИТАФИЯ

(Как она мыслится)

Материя,
ей быть пришлось и мной,
ей быть пришлось и мыслями моими,
но час настал — окончен путь земной,
и мрамора мое коснулось имя.
Чистейший пламень атомы мои
опять разрознил и вернул по праву
колосьям, воздуху, росистым травам,
садам, куда вернутся соловьи.
Небытие. Где в нем страницы книг?!
Уж мне не прикасаться к ним перстами.
Я к черной чаше вечности приник

бесплотными, но жадными устами
и пью... Погаснет не одна звезда,
но чашей той не освежить уста.
Кричать хочу: из чаши жизни пей!
Напиток в ней и сладок и несладок.
В нем ощутишь и аромат степей,
и ледников небесную прохладу.
В нем ощутишь и терпкость женских губ,
и слез, что тайно льют, солоноватость.
Я не допил его
и не смогу
допить... Хватился поздневато.

НА ДАЧЕ УЧЕНОГО

В. Ф. Асмусу

Кленовый лист к стеклу окна приник,
пылает и багрянцем сыплет осень,
а в кабинете сумрачно от книг.
Хозяин мил и прост, садиться просит.
Стареет — подтверждает седина,—
но он со старостью не очень дружит.
Пусть этих книжных полок вышина
столетий мысль ему на плечи рушит,
Сутулость не пригнула за столом.
Он и сегодня, раскрывая книги
или водя немеркнувшим пером,
остался собеседником великих.
Меня приветил он житейским взглядом,
спустившись с философской высоты.
Бывает и Вселенная с ним рядом.
Он с ней без панибратства, но на «ты».

...И ВЕЛ ИХ ЛЕНИН

Я получил письмо из г. Горького от пионеров восьмиклассной школы № 106. Они пишут.

«Ваше стихотворение «Ленин» мы учили на уроке литературы. Всем ученикам оно очень понравилось. Нас интересует, о каком это памятнике рассказывается в вашем стихотворении. Был ли этот памятник на самом деле, или партизаны шли на врага с именем Ленина в сердцах? Если это было на самом деле, то где это происходило и стоит ли этот памятник сейчас? Степан Петрович, мы очень Вас просим ответить нам».

Дорогие ребята!

Такой памятник действительно был. Он стоял на площади в небольшом городе Сольцы, что недалеко от Новгорода.

В середине июля 1941 года этот город был занят немцами. Однако решительной контратакой наши войска отбили его у врага, правда, ненадолго. В первый же день, как только наши вошли в этот городок, мы, сотрудники фронтовой газеты, в нем побывали. Что же мы там увидели?

Город был сожжен почти полностью. Все в нем дымилось и чадило. От полуразрушенных кирпичных фундаментов шел нестерпимый жар. Все это потрясло нас до глубины души. Но нас ожидало еще большее потрясение. Очутившись на городской площади, мы увидели разбитый и поверженный на булыжник памятник Ленину. Мы долго стояли в тяжелом молчании, не находя этому слов. Но слова все же пришли. Там же сложились в голове первые две строчки стихотворения: «Из бронзы Ленин... Тополя в пыли. Развалины сожженного квартала...» Следующие строчки сложились так же легко, но уже по дороге в редакцию. На другой день стихотворение появилось во фронтовой газете, а через несколько дней в «Правде».

Но что же стало с тем памятником, спрашиваете вы. На днях я получил письмо от школьников из того самого города Сольцы. В письме была вложена фотография памятника, который стоит теперь на площади в Сольцах. Ребята спрашивают меня: тот ли это памятник, о котором написано в моем стихотворении? Я затруднился им ответить определенно, но мне показалось, что это был все же тот самый памятник. Правда, он был тогда разбит, но возможно, его реставрировали.

Стихотворение заканчивается словами: «И вел их Ленин...» Памятник ему в том городке был разбит, повержен в прах, и фашистский полковник думал, что этим он расправился с Лениным. Глупец. Ленин бессмертен.

Март, 1969

Нина Эскович

СЛОВО О КРАСНОМ ФЛАГЕ

Флаг — человеческого роста.
Свободен, молодо гриваст.
Свое он право
первородства
не сдаст и цвет свой не отдаст.

Когда, — ему суля распятые, —
враги подмяли город мой,
он был сохраннее
дитяти, —
надежный сверточек грудной.

А вспыхну, — вот я, виновата! —
его отцовское тепло
колюче, как щека
солдата,
чье время битв не истекло.

АПРЕЛЬСКАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Ни разу будто не родившая,
готовится земля притихшая.

Дай прутья красные, апрель,
сплести большую колыбель!

В стволе березы ни кровинки.
Нет зорь, игры их, толкотни.
Еще и тропы — не тропинки,
всё обещания одни.

Вот он поплыл по листьям палым,
просвет, — и, вовсе молода,
земля поводит легким паром,
и в недра прячется вода.

А ива думала топиться!
Но ветка брошена в полет,
и почка розовым копытцем
об солнце пасмурное бьет.

СНЕЖНЫЕ СТИХИ

Подчеркнуто в себя углублены
привязанные к берегу снеговья.
Устойчивые, будто влюблены, —
что делать им с последнею любовью?

Прибитые к последнему оплоту,
к ручьи́стым растревоженным полям,
снега, снега готовятся к полету
навстречу теплокрылым лебедям.

И первый день придет, неверный,
слегка рассеянный, слегка
в дожде, в лучах, в обнизке вербной...
Вода шумна и высока.

Наутро в пасмурности милой
она тиха, она раба.
Ручей овражный окаймил
тысячелетняя трава.

С небес, из голубых купален,
об вечер солнышко плывет.
С горы плетень полуповален,
сейчас, как веер, упадет.

Приснежен паводок опавший.
Снега, постойте. Видно, я
горячей преданности вашей
поверю на четыре дня.

*

Я знала, снега быть не может.
Черемуха уже светла.
Она и на день не отложит
свои венчальные дела.

На месте бывшего снеговья
огонь все глуше и бледней.
Земли отчаянье нагое,
следы привязанности к ней.

СИРЕНЕВЫЙ ПЕРЕУЛОК

Хорошо, что я слишком приучена
в одиночестве долго бродить.
Многоснежная тропка озвучена
птичьим трепетно-радостным:
«Пить!»

Свиристит оно тонко и тоненько,
и, раскрытые ради весны,
до чего ж молодого
шиповника
молодые побеги красны!

ПОЗДНИЙ АПРЕЛЬ

Когда на талом пяточке
кружит березка,
снега в горячей их тоске
доступней воска.
Зажженные, они
истают...
И вдруг:
— Ты, рыженькая, чья?! —
И дутым золотом блистают

подвесок дрожь и толчея.
Бледна первичная излука
несовершенного листка...
Стрела не пущена из лука,
но к долу синему близка.
Сок с клейких узеньких ладоней
не дождик ли, не брызжет ли!
Еще ни слабый, ни влюбленный
глотка испить не подошли...

Зорий Яхнин

ИЗ «ШУШЕНСКОГО ДНЕВНИКА»

Я снова здесь. Ступаю осторожно
В шуршащий, легкий золотой настил.
Я снова здесь.
В душе моей тревожно:
А так ли я и чувствовал и жил?

А был ли я к делам людским причастен?
Добавил ли на малый миллиграмм
Своей земле и теплоты и счастья?
Или хотя бы был я счастлив сам?

Я паутинку здесь не потревожу,
Пускай скользит по моему лицу.
Я ровно на двенадцать лет моложе,
Чем выстрел тот по Зимнему дворцу.

Виски уже седы у поколения.
Но, сердце милое, прошу я — не старей.
Я снова здесь,
Но не для поклонения,
А чтобы видеть дальше и острей.

Пусть полуправда злобно и намеренно
С фанфарами под барабанный бой,
Подкрашивая лозунги под Ленина,
На Ленина идет в нечестный бой.

Но мы еще померяемся силами.
У правды неприступны рубежи.
И хочется отнять слова красивые
У ханжества, у глупости, у лжи.

* * *

...Весна. Вокзал. Смешались на перроне
Крутая ругань, смех и чей-то стон.
В раздрызганном скрипучем эшелоне
Стоит белоказачий батальон.

И человек, восторженный и юный,
С согнутою на привязи рукой,
Вскочил на бочку, будто на трибуну,
И пылко держит речь перед толпой.

Он говорил легко и просветленно,
Как говорят в неполных двадцать лет.
А из окна переднего вагона
Смотрел
В его затылок
Пистолет.

Он говорил, что скоро уж свершится
Тот светлый праздник счастья и труда.
И все поймут, что слезы — не водица
И кровь людская — тоже не вода.

Стеклянными дворцами бредят улицы,
И вся земля сплошной фруктовый сад.
Он был солдат не просто революции —
Всемирной революции солдат.

И гулко грохнул выстрел над перроном.
И паровоз протяжно завизжал.
И кто-то побежал вослед вагонам,
А кто-то им вослед не побежал.

И человек к земле склонился низко
Курчавой воспаленной головой.
И мама — худенькая гимназистка —
С вокзала привела его домой.

Открыл глаза.
На окнах занавески,
В шкафу стеклянном ряд премудрых книг:
Белинский, Добролюбов, Чернышевский, —
Но человеку было не до них.

За окнами плыла в огне Россия.
Нетвердо встал он на ноги с утра.
Спросил у мамы:
— Как вас звать?
— Мария.
— Так вот, Мария, мне уже пора...

...Об этом мне рассказывала мама.
Но знаю я,
И позже мой отец
Все верил во Всемирную упрямо —
Вот-вот она свершится наконец.

Он в это верил свято, беззаветно,
Чекист с седой курчавой головой.
Запомнил я — мальчишка восьмилетний —
Однажды хмурым он пришел домой.

Я в сумерках сидел притихшей птахой,
Поглядывал испуганно на дверь.
И я узнал:
Чекист умеет плакать.
Мне это важно даже и теперь.

Все так же плыли тучи над Россией.
Страна все так же в гимнах и в строю.
Он на рассвете выбритый и сильный
Ушел на службу строгую свою.

Какая сила эти слезы вырвала?
Не завершил, что думалось, всего?
А может, пуля, пущенная в Кирова,
Предательски задела и его?

* * *

Пропахшие едой и хлоркой залы.
Скамейки почерневшие вдоль стен.
Галдящие российские вокзалы.
Здесь ждем не поездов, а перемен.

Рассыплются все мелкие проблемы,
Как только поезд наберет разгон.
Лирический герой моей поэмы
Шагнул в поющий, пляшущий вагон.

Какой герой? Ах, из статьи критической
Тот термин лезет к нам в стихи порой.
Во-первых, он ни капли не лирический,
А во-вторых, нисколько не герой.

Он — это я.
На третью полку влажу.
А впереди Сибирь — простор — размах.
(Конечно, для стихов я приукрашу
Себя, как и положено в стихах.)

А поезд мчится с грохотом и свистом,
По окнам — золотые фонари,
В тот край, где прозрели декабристы
И шедшие за ними бунтари.

В край сумеречных странных поселений,
В край, где закон медвежий вековал,
В тот край глухой, в котором ссыльный Ленин
Работал, улыбался, тосковал.

Теперь я знаю, мы спешим за веком
И дело не в дорожной суете.
Ах, где б ни жить, прожить бы человеком,
В Сибири ли, Москве, Алма-Ате.

Еще встречаем в спор: «Отцы и дети...»
И горячимся, будто бы юнцы.
Часы стучат. Однажды вдруг заметим,
Что сами уж не дети, а отцы.

Идем все той же трудною дорогой,
Все то же знамя в трепетных руках.
Уж сам смотрю с надеждой и тревогой
На очень мудрых мальчиков в очках.

Михаил Скуратов

ИЛЬИЧУ

Для собирателей книжных редкостей эта скромная книжка-малютка значит пер- в ой среди книг, посвященных В. И. Ленину. И что любопытно, не в Москве, не в Ленин- граде (тогда еще Петрограде), а чуть ли, по тогдашним представлениям, не на краю света— в далеком Иркутске вышла эта книга. Называется она душевно и про- сто— «ИЛЬИЧУ», а издана Иркутским литературно-художественным объедине- нием (обществом), сокращенно ИЛХО, в 1924 году.

ИЛХО— первая советская литературная организация в Восточной Сибири. Мало кто знает, что ядром илховцев была пятерка то- гда еще юных поэтов: Иосиф Уткин, Джек Алтаузен, Иван Молчанов-Сибирский, Вале- рий Друзин и пишущий эти строки, в ту пору печатавшийся под псевдонимом Михаил Бельский.

Как же родился этот сборник?

Помню, поздним январским вечером, точнее— ночью, как только пришла весть о кончине вождя, народ бесконечными вере- ницами потянулся по улицам города, через замерзшую Ангару, из предместий, с факел- ами в руках, стекаясь на главную пло- щадь— Тихвинскую.

Было морозно. Залпы орудий, стоявших на набережной Ангары, на миг озаряли вспышками густую копоть ночи, и тогда на реке обозначались торчмя дыбившиеся пол- чища льдин. Но факелы все двигались и ко- лебались; их фантастические языки устрем- лялись в небо...

30 января 1924 года, через шесть дней после кончины Владимира Ильича Ленина, в редакции иркутской губернской газеты «Власть труда» (ныне «Восточно-Сибир- ская правда») собрались илховцы. Тогда- то и родилось решение выпустить сборник стихов «Ильичу», целиком посвященный Ленину. В газете «Власть труда» 4 февраля было оповещено о готовящемся издании: «В сборнике будут помещены стихи поэтов: Н. Д. Хребтовского, А. Вечернего, А. К. Обо- рина, И. Уткина, М. Скуратова-Бельского, В. Томского, Марии Озерных. Сборник будет богато иллюстрирован художниками: Би- госом, Мазылевским и Болдыревым-Ка-

зариным. Редакция газеты «Власть тру- да» бесплатно предоставляет для сбор- ника бумагу. 1-я гостипография, в свою очередь, предоставляет бесплатно труд наборщиков и печатание сборника... Весь сбор от продажи книги целиком поступает в фонд постройки памятника тов. Ленину...»

Книга была отпечатана за десять дней. Уже 22 февраля «Власть труда» известила своих читателей о том, что в ближайшее воскресенье, 24 февраля, ИЛХО устраивает в Доме работников просвещения очередной литературный вечер с докладом Г. А. Ржа- нова и выступлениями иркутских поэтов. Здесь же сообщалось: «На вечере будет производиться продажа сборника «Ильичу», выпускаемого ИЛХО в фонд памятника т. Ленину...» Кстати, этот памятник создан по замыслу замечательного советского скульп- тора С. Меркурова и теперь украшает одну из лучших улиц Иркутска— Карла Маркса, на перекрестке с Пролетарской (б. Амур- ской).

В предисловии к сборнику Г. А. Ржанов писал: «Ленин-Ильич найдет самое много- гранное отражение в нашей литературе, поэ- зии в частности. Как в странах угнетенного человечества о Ленине будут создаваться легенды (они уже есть и теперь), так и в на- шей литературе художественное творчество отдаст все лучшее для воплощения образа Ильича, Ленина... Каплей, самой незначи- тельной песчинкой войдет в музей Ильича-Ле- нина настоящий сборник стихов поэтов-си- биряков, стихов иркутского пролетарского молодняка, организованного в иркутском литературно-художественном объединении ИЛХО».

...С трепетным благоговением держишь в руках и листаешь эту крохотную книжицу. Она выпущена в количестве 3975 экзем- пляров, что по тому времени тираж не- малый.

В сборнике участвовал Иосиф Уткин (Ир- кутск—его родина). Перед тем как написать стихи о Ленине, Иосиф Уткин делился свои- ми сомнениями с илховцем Василием Том- ским: «Да, Том, трудновато, не перегорело, слишком много всего здесь,— он посту- чал

кулаком в грудь,—сейчас, вот сейчас
у меня еще не получится, должно быть,
того, главного, оно придет, должно быть,
позже...»

Жизнеутверждающим началом проникнуто стихотворение И. Уткина, хотя оно явилось прямым откликом на смерть Ильича. Оно было наиболее совершенным среди стихов других илховцев.

...Но читал я на красных знаменах,
Что Ильич никогда не умрет.
Но видал я, как стены дрожали,

Услыхавши клятвенный клич,
И, я знаю, в Колонном зале
Эту клятву слышал Ильич.

Тот же мотив о вечно живом образе Ильича звучит и в стихотворениях Адриана Вечернего (Голянковского) — «Застонали радиомачты» и «Капитану», ими открывается сборник «Ильичу».

Скромная книжечка, выпущенная в Иркутске в 1924 году, несомненно, вписала свою страницу в начальные главы поэтической Ленинианы.

Александр Макаров

БОЕВОЕ УТРО ПОЭЗИИ

«...Литература революции началась со стихов»,— писал Владимир Маяковский. Это верно не только исторически, не только потому, что поэзия, как более оперативный жанр, многоголосо откликнулась на величайшее в истории человечества событие, но и потому, что в поэзии этих грозных лет весомо и зримо уже проступали многие черты, которым суждено было стать определяющими чертами новой, советской литературы.

Принятие революции, осознание ее как исторической необходимости и осуществления вековых чаяний и идеалов народных — таково восприятие революционной бури лучшими поэтами той поры. Отсюда и гордое заявление Маяковского: «Моя революция», и страстный призыв Александра Блока: «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте революцию». Отсюда и обретение поэзией смысла своего существования в службе революции, поиски практических путей средствами искусства служить народу в его повседневной борьбе за будущее.

И пути были найдены столь быстро, что спустя десятилетия это кажется чудом. В январе 1918 года поэт старшего поколения Блок пишет свои «Двенадцать» — первую поэму революции. Первую, но такую, какую мог написать только великий поэт, прокладывающий пути поэзии будущего. И дело тут не в тех гулах и ритмах революции, подслушанных поэтом, о чем так любят говорить поэты-критики, и не в том, что представитель старой интеллигенции Блок не понимал созидательных целей революции, которые отлично понимают выучившиеся в советских вузах литературоведы, а в том, что впервые в этой поэме большой поэт ощутил народные массы как подлинных творцов истории и сделал героями своей поэмы именно представителей этих масс. Дело в том, что решение задач, возникших перед поэзией, Блок искал не в декларациях и космических абстракциях, а в сочетании реалистического изображения действительности с суровой романтикой революционной борьбы и властным призывом: «революционный

держите шаг!» И это указывало литературе верное и в то же время отличающее ее направление. Что же касается религиозно-мистических мотивов и пресловутого Христа, с которым вот уж почти полвека не могут разобраться профессора и преподаватели, то, может быть, более других, по-художнически прав известный писатель М. Пришвин, сказавший как-то: «Сильно подозреваю, что Христос в поэме Блока «Двенадцать», грациозный, легкий, разукрашенный розами, есть обожествленный сам Блок, иллюзорный вождь пролетариата». И пожалуй, это всего верней, и на слабых сторонах поэмы сказались слабости самого поэта, сохранявшего веру в свой избранный жребий.

Поэтический подвиг Блока затмевает деятельность других поэтов, также по-своему принявших революцию, таких, как В. Брюсов и С. Есенин, но не умаляет их заслуги перед родной русской литературой, порывающей со своим предреволюционным прошлым.

Сделать же поэзию орудием активного вторжения в жизнь, боевой помощницей народа в его практических делах было суждено другим поэтам — Владимиру Маяковскому и Демьяну Бедному. В те далекие годы имена этих поэтов стоят рядом, и каждый из них разговаривает с народом, обращаясь непосредственно к борющимся массам, один — мятежный, взволнованный, с высот поэзии бросающийся в революцию с бурнопламенными словами «Левого марша», заставляющего почувствовать пафос великих революционных свершений, возгораться духом; другой — старый воспитанник большевистской «Правды» — со стихами, доступными уразумению любого простого человека, разъясняющими ему смысл событий и указывающими реальные цели его борьбы.

Не пройдет и двух лет после «Двенадцати», как Маяковский первым, с огромной поэтической силой скажет, что значит для революции ее подлинный вождь Ленин («Владимир Ильич»), и первым утвердит то, что нынче стало творческой аксиомой для советской литературы в целом:

Поэтом не быть мне бы,
Если б
Не это пел —
В звездах пятиконечных небо
Безмерного свода РКП.

В практической работе на революцию, в «черной» работе плакатчика и лозунговика «революцией мобилизованный и призванный» поэт и вырастает в ее великого поэта, ибо только участие в созидательной работе действительности и рождает большого художника.

Около сорока книжек выпустит Демьян Бедный в годы гражданской войны, которые он проведет на фронте,— книжек о «величайшем из великих — красноармейце рядовом», зажигающих сердца читателей революционным огнем и укрепляющих волю к борьбе. В годы гражданской войны Бедный был самым популярным поэтом. И еще долго впоследствии будут петь по деревням его «Проводы», этот народный манифест, противопоставление себя как нового человека старому миру, до тех самых пор, пока не зазвучит в полях задушевная песнь Исаковского, заявившая о массовом утверждении в деревне нового, социалистического сознания.

А главное в том, что, уча воевать, советская поэзия тех лет в лице Бедного, в лице рабочих поэтов Полетаева, Арского, Александровского и других утверждала за новой литературой искусство вторжения в жизнь как ее долг и именно как искусство. Литература становилась реальной помощницей партии, которая идейно воспитывала пробудившиеся к творчеству новых форм жизни силы его и «направляла, строила в ряды». И этой черте было суждено стать неотъемлемой чертой советского искусства.

А навстречу поэзии, пришедшей в революцию и идущей в ногу с нею, поднималась согласная волна массового поэтического творчества тех, кто эту революцию своими руками делал, кто сражался за нее в битвах гражданской войны. И если были среди них иногда и профессиональные поэты, как белорус Александр Гурло, в те дни моряк-балтиец, участвовавший в штурме Зимнего и воспевший этот штурм «песней звонкой, песней воли», то имена большинства авторов тех песен и стихов, которые жили и воевали тогда,— эти имена история не сохранила. Да и нередко их авторы подписывали свои стихи такими именами, которые выражали собой социальную сущность, их поэтическое кредо: Пролетарий, Беспощадный, Красно-

армеец. Поэтическая символика этих стихов как нельзя лучше отвечала душевному настроению раскованного человека, почувствовавшего себя хозяином жизни, и если сейчас эта символика и аллегоричность кажется нам наивной и мы не помним уже этих стихов, то все же несли они в себе характерные для новой литературы черты — ее революционную непримиримость к старому, ее веру в победу, патриотизм. И они были почвой, которая также питала новые поколения уже выраставших в советских условиях поэтов, да ведь и многие из них и пришли в поэзию с винтовкой в руках прямо с полей гражданской войны, навсегда принеся в нее заповедь, что перо должно быть приравнено к штыку. Это будет и А. Сурков, и Н. Тихонов, и многие другие.

Пройдут годы, и не только в поэзии, но и в прозе этим поколением будут созданы прекрасные произведения о годах революции и гражданской войны, которые мы теперь знаем с малых лет и романтика которых возвышает душу, но и сейчас, случайно, роаясь в старых газетах, вдруг наткнемся на не всегда опытные, корявые строчки стихов безвестного ныне поэта той поры и почувствуем — «в чем-то он тебя богаче, он ступал в тот след горячий, он там был, он жил тогда». А главное, он был свидетелем и участником первого массового прилива в литературу новых творческих сил из народной массы — явления, ныне ставшего закономерным и для литературы привычным.

Далекие годы, а как они нам близки! Именно в эти годы человек труда — боец за новое — закрепляется как основной герой новой литературы в широком потоке поэтических произведений. Художественные завоевания основоположника литературы социалистического реализма М. Горького, сделавшего героем своих книг этого трудящегося человека — борца, осваиваются поэзией и становятся ее достоянием.

А разве не в этой революционной буре рождалась и наша литература как литература многонациональная, спаянная единством цели и братской дружбы? И если Маяковский в те годы пел подвиги краснозвездной лавы, то с Украины переключался с ним Павло Тычина своим задушевым «Ой упал боец с коня». А когда Купала и Колас приветствовали стихами октябрьские события, на другом конце необъятной страны выдающийся таджикский поэт Айни писал свои

призывные «Марш Свободы» и «Марш Октября», ставшие любимыми песнями революционной таджикской молодежи. И будущий национальный герой татарского народа Муса Джалиль, тогда еще юный комсомолец, печатал в газете Туркестанского фронта свое первое стихотворение, стихотворение поэта-бойца, каким он и остался всю свою жизнь, увенчав ее подвигом бессмертия. Единство цели, единство веры, так ощутимо сказавшееся в творчестве поэтов, сумевших стать голосом народа,— вот что явилось тем фундаментом, на

котором воздвигнуто монолитное здание многонациональной советской литературы.

Читая стихи больших и даже безвестных поэтов первых революционных лет, ощущаешь себя как бы у истоков нашей литературы. Как многое мы взяли у них, как многому они научили нас. Они прокладывали дороги, они открывали то, что теперь нам кажется само собой разумеющимся. Поэзия тех лет — это утро, которое предвещает, каким будет день. Боевым, трудным, но победным.

А. Февральский

МАЯКОВСКИЙ ЧИТАЕТ СВОИ СТИХИ

Важной стороной деятельности Маяковского было публичное чтение своих стихотворений и поэм. Об этом говорят его слова: «сейчас... главный способ общения с массой — это эстрада, голос, непосредственная речь».

Эти слова написаны в 1926 году, но они в полной мере могут быть отнесены и к более раннему периоду. Пожалуй, в период гражданской войны, когда издание книг и журналов было в сильнейшей степени затруднено хозяйственной разрухой, публичное чтение стихов имело еще большее значение.

Поэт, в своем творчестве обращавшийся к массам, поэт, призывавший трудовой народ к революционной борьбе, к защите социалистического отечества, к действию, к созиданию, Маяковский пользовался каждой возможностью, чтобы нести слушателям свое слово. И мощь строк умножалась силой вдохновенного чтения.

Чтение стихов перед широкой аудиторией являлось для Маяковского одной из форм агитационно-пропагандистской деятельности. Поэтому целью его было донести до слушателей мысль, содержание произведения как можно полнее, четче и ярче. Этой цели служили и сила его густого, низкого, но никоим образом не грубого голоса, и плавная, в то же время ударная ритмичность его чтения, и неспешный обычно темп, и поразительно отчетливая артикуляция. Маяковский никогда не напрягал свое горло, не кричал, но голос его, — по выражению Назыма Хикмета, «колокольный голос», — свободно звучал в полную меру своих возможностей и — если это было нужно — достигал громовой, потрясающей силы.

Мне посчастливилось присутствовать на многих выступлениях Маяковского. Впечатления юности, как известно, крепко входят в сознание, и из воспоминаний о чтении Маяковским своих поэтических произведений отчетливее других сохранились наиболее ранние — относящиеся к 1920—1921 годам.

Несколько раз Маяковский читал поэму «150 000 000», законченную в 1920 году. Главу же поэмы, рассказывающую о Чика-

го и о Вильсоне, — главу, в которой поэт сатирически обличает американский капитализм, — он читал отдельно на многих вечерах.

Когда исполнялась вся поэма, переход к этой главе отмечался переменной тональности (недаром во вступлении к главе сказано: «Наново ритма мерка») — высокая патетика предыдущих глав сменялась сатирой. Но глава о Вильсоне не выпадала из всего произведения, тем более что отдельные части поэмы объединялись общим приемом гиперболы — нарочитого преувеличения. В этой главе гипербола служила Маяковскому для подчеркивания сатирической остроты и для резкости противопоставления капитализма миру трудящихся. Маяковский как бы приглашал своих слушателей изумляться масштабам «американского образа жизни», но делал он это для того, чтобы затем изобличить внутреннюю пустоту видимого великолепия.

Гиперболизм звучал уже в первой строфе: говоря об Америке, что мир (в смысле мироздания) «одарил ее мощью магической», Маяковский весомо разделял последнее слово строки на слоги: «магической».

Не довольствуясь общей переменной ритма, он менял ритм при чтении отдельных кусков главы, например — кусков, начинающихся словами:

Русских
в город тот
не везет пароход...

Или:

А стоит на ней
Чипль-Стронг-Отель.

Такие куски он читал в манере былинного повествования.

После обстоятельного описания отеля дело доходило до самого Вильсона, и тут слова:

То не солнце днем —
цилиндрище на нем
возвышается башнею Сухаревой...—

Маяковский произносил с намеренной тяжеловесностью: вот, мол, поражайтесь — перед вами колосс капитализма. Но был в этой тяжеловесности и оттенок издевки, ко-

солнца!» — почти пренебрежительно, махнув рукой. Но в дальнейшем он обычно читал эти строки иначе: в словах «и солнца!» слышался подъем и рука взлетала вверх, — стихотворение получало более серьезное, утверждающее интонационное завершение, которое вполне отвечало высокой идее «лозунга»: «Светить всегда, светить везде!»

Вообще Маяковский не читал свои произведения всегда одинаково. Сохраняя основную трактовку и манеру исполнения, он порой вводил в свое чтение новые интонации, новую окраску отдельных мест¹. Очень часто различия в чтении определялись тем, перед какой аудиторией, в каких условиях выступал поэт. Поэтому мое описание не во всем совпадает с впечатлением, которое получаешь, прослушивая фонографическую запись читки Маяковским «Необычайного приключения».

По поводу этой и других записей голоса Маяковского нужно иметь в виду следующее. Записи крайне несовершенны технически; попытки улучшить их, чтобы затем размножить посредством патефонных пластинок, пока не дали значительных результатов. Но если бы и удалось устранить шумы, которые подчас заглушают звучание голоса Маяковского, — слушатели все же не смогли бы получить полное представление о его мастерстве чтеца. Фонозапись лишь в слабой степени передает характер этой читки. По-видимому, Маяковский, привыкший выступать перед большой аудиторией, был скован необходимостью говорить в раструб записывающего аппарата, ему не доставало слушателей, реагирующих на чтение. И в фонографическом воспроизведении читка оказывается более однообразной — менее богатой оттенками и в то же время более декламационной — менее живой и свободной, чем выступления поэта с эстрады.

Раз мысль поэта требует для своего выражения стихотворной формы, эта форма должна быть донесена до слушателя вместе с мыслью, как способ наиболее впечатляющего воплощения мысли. Вот почему для Маяковского было совершенно неприемлемым приближение стиха к прозе при чтении. Другое дело, что иногда Маяковский, как я уже говорил здесь, порой произносил отдельные строки разговорным, иногда умышленно прозаическим тоном. Это ка-

салось интонаций, стих же у него всегда звучал именно как стих. И это получалось органически, без нарочитого подчеркивания формы стиха¹, — опять-таки благодаря неразрывной связи формы с содержанием, благодаря тому, что в поэзии Маяковского ритм — важнейшее организующее начало стихотворения — определяется содержанием и в свою очередь оформляет содержание.

«Ритм, — писал Маяковский в статье «Как делать стихи?», — это основная сила, основная энергия стиха». Сказанное о создании стихотворения в равной мере относилось к его исполнению. В передаче Маяковского чтеца мысли устремлялись к аудитории на волнах упругого ритма — безусловно четкого и в то же время очень гибкого. Сохраняя единство сквозного ритма стихотворения, Маяковский менял темпы, менял интонации отдельных кусков произведения, отдельных частей фразы, отдельных строк. А внятно отмечаемые голосом рифмы служили вехами, которые прочно закрепляли мысли в сознании слушателей.

Одна из характерных особенностей чтения Маяковского заключалась в том, что он очень четко произносил каждое слово. Уже после его смерти, работая над новой постановкой «Клопа» (она не была завершена), В. Э. Мейерхольд на репетиции 9 февраля 1936 года говорил артистам: «Все слова Маяковского должны подаваться как на блюдецке, курсивом, он это любит»². Это было очень меткое определение. Подавая слова «как на блюдецке», Маяковский усиливал ударность, впечатляемость своего чтения.

Как правило, Маяковский не тянул звуки (только изредка он растягивал ударные гласные в концах слов, чтобы подчеркнуть значительность того или другого места), и в то же время повышения голоса не переходили у него в выкрики. Он делал ударения на основных словах фразы, но это не мешало ему очень ясно произносить окончания всех слов. Вообще он не «глотал» буквы: каждая гласная и каждая согласная жила своей жизнью и вместе с тем выполняла свое определенное назначение, как частица мастерски инструментowanego целого.

¹ Иной раз Маяковский менял и отдельные строки. Так, мне помнится, что в «Левом марше» он иногда читал не «Клячу истории загоним», а «Историю клячу загоним».

¹ Лишь изредка он немного скандировал места, которые считал нужным выделить.

² В. Э. Мейерхольд. Статьи, речи, письма, беседы, ч. 2. М., «Искусство», 1968, стр. 364.

Много лет спустя, в 1937—1938 годах, присутствуя на занятиях К. С. Станиславского с учащимися драматической и оперной студий, которыми он руководил, я слышал, как замечательный режиссер говорил театральной молодежи о том, что каждая произносимая буква, в частности согласная, имеет свои особенности. Станиславский предлагал своим ученикам искать характерность отдельных букв. Маяковский, несомненно, органически чувствовал эту характерность. В гласных, прежде всего в ударных, обнаруживалась глубина, — например, ударное «о» иногда произносилось «оу» или «оо». Слова приобретали особую звуковую наполненность, как бы становились выпуклыми. Можно полагать, что в этой выпуклости гласных сказалось влияние грузинского языка, который Маяковский хорошо знал с детства, потому что именно грузинской речи присуща своеобразная наполненность, объемность звука.

Однажды я шел по Военно-Грузинской дороге вдоль берега Арагви, прислушиваясь к шуму реки и к голосам проходивших мимо крестьян. И думалось, что в звуках грузинской речи отразилась природа Грузии: в гортанности их слышится журчанье быстротекущих потоков, в объемности звуков, непривычной для равнинной русской речи, воплотились горные высоты.

И такая же объемность звуков — в поэзии Маяковского. Особенно в слышимой поэзии, слышимой из уст самого Маяковского. Она гремела в мужественном музыкальном строе его интонаций, в мощи согласных, в наполненности гласных. Несясь вдаль, голос Маяковского мог грохотать, как горный обвал, и мог легко взлетать в высоту. В раскатах этого голоса русская ширь множилась на грузинскую высь.

В исполнении Маяковского не было ни малейшего признака натуралистического подражательства, бытовщины, мелкоотрачатого жанризма, — недаром он начисто отбрасывал «бытовой разговорный тончик» в театре. И он выступал против «старых традиций в области декламации», осуждал чтецов, которые, как он писал, «или классически подвывают, или делают бытовые ударения, совершенно искажая стихотворный ритм».

Читая «Рассказ про то, как кума о Врангеле толковала без всякого ума», Маяковский не пытался изображать, играть действующих лиц — бабу, волшебника, хозяина

ресторана, околоточного. И если он все же по-разному оттенял голосом их реплики, это были лишь намеки на индивидуальные характеристики, такие намеки, которые не превращали стихотворение в инсценировку и ничуть не нарушали его ритмической структуры.

В быстром темпе читал Маяковский строки, передающие движение:

Мчала баба суток пять,
рвала юбки в ветре...

Или:

От лакеев мчится пыль,
прошибает пот их...

Понижением голоса отмечались слова или фразы, в которых говорилось о вещах, внушавших уважение действующим лицам, и в частности самой бабе: «а в ем ума», «саженный метрботель», «двести вынула рублей», наконец:

Как подняла власть сия
с шпорой сапожища...

Разумеется, в этих понижениях все время чувствовалась насмешка автора-чтеца над его «героиней».

Но совсем иной результат получался, когда после строки, произнесенной на высокой интонации:

как задала тетка ход —

Маяковский делал короткую паузу и сразу понижал голос, заключая фразу:

В Эрэсэфэсерию.

Тут понижение выполняло другую функцию: окончательное разоблачение обывательских контрреволюционных сплетен о «благах» жизни под властью Врангеля и радостное утверждение, что только в РСФСР, где народ сбросил своих угнетателей, трудящийся человек может свободно дышать.

Нередко в чтении того или иного произведения ироническая интонация чередовалась с патетической, и из столкновения контрастных элементов возникало интонационное разнообразие, которое делало прочитанное особенно впечатляющим.

В патетике Маяковского не было выпренности, нарочитого, «наигранного» пафоса, искусственной приподнятости, ложной значительности. Для Маяковского патетика означала подлинный поэтический подъем,

выраставший из глубокой и страстной убежденности борца. Сила мысли объединялась с правдой чувства. Поэтому чтение Маяковского было ярко эмоциональным, захватывало своей искренностью.

На одном из занятий К. С. Станиславского с театральной молодежью, о которых я уже упомянул,— 9 июня 1936 года— Станиславский сказал: «Надо уметь действовать словом, а не произносить слова. Слово должно становиться действием». (Цитирую по моей записи.) Таким умением Маяковский обладал в полной мере. В его исполнении, как и в самом тексте его стихотворений, поэм и пьес, слово становилось именно действием.

Жестом Маяковский пользовался умеренно. Он, бывало, читая, ходил по эстраде, но никогда не размахивал руками. Четкий и в то же время свободный и плавный жест, размеренное движение помогали оттенять ту или иную мысль, усиливали выразительность слов.

Если в тексте стихотворения или поэмы встречался песенный отрывок, Маяковский слегка напевал его. Притом Маяковский категорически отвергал напевность, излюбленную поэтами-декламаторами, в особенности декадентами, например Игорем Северянином— тот читал свои стихи на один определенный мотив. Но чтение Маяковского было пронизано внутренней музыкой— музыкой ритма, которая захватывала и покоряла слушателя¹. Оно кипело огромной энергией, наполнявшей Маяковского— человека и поэта,— ведь оно было выражением его эмоционального строя.

¹ Мне думается, не случайно оказалось, что при наличии интересных музыкальных сочинений на темы произведений Маяковского у нас не много удачных переложений текстов Маяковского на музыку. По-видимому, ритм стиха Маяковского так силен, так своеобразен и при этом так гибок, что его чрезвычайно трудно уложить в ритм музыки.

Исполнял ли Маяковский стихи или пьесы в прозе, это всегда было публицистически и художественно заостренное выступление. В чтении пьес, четко обрисовывая действующих лиц при помощи жизненно характерных интонаций, Маяковский раскрывал образный, поэтический строй реплик. Сменами ритма и интонаций, оттенками тембра он достигал богатого разнообразия в исполнении.

Опыт Маяковского— чтеца своих произведений представляет не только историко-биографический интерес. Он может и должен быть использован сегодня «как старое, но грозное оружие». Пытаться подражать Маяковскому— дело бесполезное, обреченное на неудачу. Но нашим чтецам— исполнителям произведений Маяковского— следовало бы глубоко постичь самый принцип его читки, который непосредственно вытекает из характера его поэзии и драматургии. Маяковский провозгласил лозунг:

Театр
не отображающее зеркало,
а —
увеличивающее стекло...

И сам он не только подчеркивал, резко заострял характерные черты героев в тексте пьес, но и читал пьесы, подавая текст выпукло, превращая выразительные средства голоса в своего рода увеличительное стекло.

Мастерство Маяковского-чтеца— такое же достояние настоящего и будущего, как и самая его поэзия. И оно должно быть взято на вооружение искусством наших дней. Ведь этого хотел и сам Маяковский, когда говорил:

Все, что я сделал,
все это ваше —
рифмы,
темы,
дикция,
бас!

Анатолий Медников

СТРОЧКИ НА ПАМЯТЬ

Народ!
Возьми хоть строчку на память!
И. Сельвинский

Начало декабря 1965 года. Переделкино. Солнечный день с искрящимися сугробами.

Сельвинский, в шубе с воротником шалью, в меховой шапке и с массивной палкой в руке, неторопливо и как-то даже осторожно, словно по льду, как ходил в последние годы, вступил на крыльцо писательского дома. Коротко вздохнув, он присел отдохнуть на одно из плетеных кресел, стоящих на каменной терраске.

Я оказался рядом, и едва завязался наш разговор, сначала о том о сем, о работе, о погоде, о здоровье, как Илья Львович невесело сообщил, что скоро ложится в кардиологическую больницу, тут же в Переделкине. И затем:

— Вам сколько? Пятьдесят два?

— Сорок семь.

— Да, выглядите старше. А скажите, был такой известный начдив Медников. Не родственник?

— Мой отец.

— Ваш отец! Да что вы!

Илья Львович даже приподнялся с кресла, так его удивило, а может быть, и обрадовало это обстоятельство. Он резко оживился и заговорил весело, подогреваемый все больше жаром воспоминаний:

— Вы знаете, я как-то ехал в поезде по Дальнему Востоку. Это было в тридцать втором году. Ехал и вижу из окна вагона объявление на маленькой таежной станции: «В районе появился тигр!» Меня это так заинтересовало, что я тут же слез с поезда. И познакомился тогда с вашим отцом. Мы вместе охотились на тигров. Потом я описал его в стихотворении под фамилией Слесарникова. Поистине, мир тесен!

Стихотворение «Охота на тигра», датированное 1932 годом. Я, конечно, помнил эту строфу:

Так мы и сделали. Белой зарей
Засели в гуще кустарников
Охотник из гольдов Василий Зуров,
Я и начдив Слесарников.
Над нами шорох ручьистых змеек,
Над нами шум в древесных увях.

— Как хорошо, что я вас встретил,— сказал он мне тогда.— И спасибо вам, что вы сын такого отца!

Я смутился от незаслуженной похвалы. Но сейчас, вспоминая тон и лицо Сельвинского, я отчетливо помню искренность его интонации, говорящую только о том, как глубоко и сильно волновали Сельвинского воспоминания о далеких тридцатых годах.

— Нет ли у вас фотографии отца?

— Есть, конечно.

— Пришлите мне. Я буду в больнице, но можете занести на дачу или пришлите по почте. Мне передадут.

Прошло более полугодом до следующей нашей встречи в поликлинике Литфонда. Это было 7 августа 1966 года.

— А фотографию вы так и не прислали?

Я смутился. Оправдываться было нечем, не тем же, что я не оценил в полной мере душевную потребность Ильи Львовича увидеть лицо товарища давних лет и времен охоты на тигров, что мне даже показалось — он забыл об этой маленькой просьбе, а мне все было недосуг отправить письмо.

Пообещав немедленно выслать фотографию и стараясь переменить тему, я заметил, что Илья Львович выглядит неплохо.

— Главное, что можно работать,— сказал он, интонационно выделяя последнее слово.— Вот это самое важное,— повторил он,— можно работать!

Стихи я не писал никогда. Прямого отношения к семинару Сельвинского в Литературном институте не имел. Однако среди его учеников было много моих друзей, я принадлежал, как и заметил Илья Львович в письме ко мне, к молодым и жадным до поэзии людям.

Как-то уже после Отечественной войны я разбирал архив Литературного института. И обнаружил краткий отчет об одном семинарском занятии, состоявшемся 12 октября 1940 года. Сельвинский со своими учениками обсуждал на этом семинаре стихи поэтов, вернувшихся с фронта после зимней финской кампании.

Теперь это уже далекое время — почти тридцать лет назад! Первые институтские фронтовики, первые стихи, написанные не по литературным реминисценциям, а по опыту боев, в которых участвовали сами поэты-солдаты.

На семинаре, конечно, выступил и его руководитель. Сельвинский накануне войны вступил в партию. Вот эта запись в архиве — одно из свидетельств того, что еще до войны, еще только в ее предчувствии, и в моральной готовности к испытаниям, уже складывались в сознании Сельвинского те основные идеи патриотизма, верности коммунизму, слитности человека и общества в едином стремлении к победе над фашизмом, которые потом окрылят его лучшие произведения о родине, сражающемся народе, о России и Ленине.

На этом октябрьском семинаре сорокового года свои финские стихи читали: И. Балуков, П. Воронько, М. Луконин, С. Наровчатов. Все они прошли потом Отечественную войну, живы и сейчас, плодотворно работают в поэзии.

Луконин читал тогда свои стихи: «Наблюдатель», «Твое письмо», «А ты все плачешь, пишут мне» и другие. Его хвалили. За правду чувствований и переживаний человека на войне, за лиричность и суровую мужественность.

После Луконина читал стихи Платон Воронько. В его стихах прозвучала вдруг затаянная боль и первое смятение души на войне, внезапно окунувшейся в океан страдания и крови.

Потом выступил Сергей Наровчатов. Он читал, резко напрягая голос, почти выкрикивая слова.

Наровчатов обнаружил уже и тогда склонность к поэтической публицистике. Многие ранние его стихи отличали интеллектуальность, широта исторического мышления, уже и тогда поэзия Сергея Наровчатова была наполнена публицистическим накалом, стремлением проникнуть в глубь диалектических процессов истории, стремлением к философским обобщениям.

Трудно здесь не увидеть влияние Сельвинского. Гражданственность лирики его учеников, конечно, отвечала в первую очередь их художественным особенностям, но и была сродни всей направленности поэтической школы Сельвинского.

— Совершенно ясно, — заявил тогда в своем выступлении Наровчатов, — что наше поколение — это военное поколение, которое до конца своей жизни будет воевать.

Сейчас временная передышка, через два-три года мы опять пойдем на фронт...

«До конца жизни», как с поэтическим преувеличением заявил Сергей Наровчатов, ни ему, ни другим участникам семинара Сельвинского воевать не пришлось, но сама война началась не через два-три года, а через семь месяцев.

Впоследствии, вспоминая об этом времени, Сергей Наровчатов как-то сказал мне, что после финской войны ощущение неизбежности новой схватки было настолько ясным, пронизывающим и сознание и душу, что все добровольцы на финский фронт, вернувшись, немедленно «переженились, да еще с тем, чтобы сразу же иметь детей».

Так что же ответил Илья Сельвинский Сергею Наровчатову и другим участникам семинара?

— Я хочу начать свое заключительное слово, — произнес он, — с того, чем закончил Наровчатов, который сказал, что мы поколение военное и перед нами целый цикл войн.

Много и страстно говорил в тот вечер Сельвинский своим ученикам о задачах поэзии в канун великой битвы, о месте поэта на переднем крае борьбы, о мастерстве, глубине поэтического видения мира и о том, что в стихах военного времени наверняка зазвучит в широком историческом охвате тема родины, Октября, великих революционных свершений.

Убить Россию — это значит
Отнять надежду у Земли, —

напишет он позже.

...Я вновь увидел Сельвинского уже в военном сорок четвертом. После тяжелого ранения под Рославлем меня помотало по разным госпиталям, и наконец я очутился в московской Марьиной роще. И вот из здания школы, переоборудованной под госпиталь, еще с рукой в гипсовом лубке, в шинели, которая надевалась пока только на один левый рукав, я присутствовал гостем на институтской встрече Нового, сорок четвертого года.

Не помню, был ли на этом вечере Сельвинский. Но уже через месяц, когда меня выписали с «комиссовкой» на шесть месяцев и я пришел студентом доучиваться в Дом Герцена, — Сельвинский вел в институте семинар, и я часто видел его.

Сам институт как раз в эти дни отпраздновал первое десятилетие своего существования. Студентов в нем было сравнительно

немного, и то... главным образом временно или насовсем отвоевавшиеся, после ранений и контузий. Большинство поэтических питомцев Сельвинского еще воевало.

Кроме семинарских занятий Сельвинский был еще занят в экзаменационной комиссии института, несомненной заслугой которого было то, что во все годы войны здесь не затухал творческий огонек, читались лекции, изучался литературный процесс.

Помню, какое огромное впечатление произвело на меня стихотворение «Я это видел» — о зверях-нацистах, закопавших во рву под Керчью семь тысяч заложников. Поистине, об этом трудно было писать словами.

— Огнем, только огнем! — призывал поэт.

Мне нравились казацки походные стихи и песни Сельвинского, его стихи о родине, и особенно взволновала меня «Баллада о ленинизме», написанная в сорок втором году.

Помнится, я прочитал балладу на газетной полосе, в блиндаже нашей полковой разведки, перечитал дважды глазами, а потом еще негромко вслух, как люблю читать особенно нравящиеся мне стихи.

Чем так впечатлила меня баллада? Глубиной содержания, силой партийной позиции поэта, динамичным, упругим ритмом, хорошо передающим трагическую напряженность сюжета и величие самого факта, легшего в основу баллады и наверняка не вымысленного, а взятого поэтом из самой жизни.

В скверике, на море,
Там, где вокзал,
Бронзой на мраморе
Ленин стоял.
Вытянув правую
Руку вперед,
В даль величавую
Звал он народ...

Как емко и сильно сказано в балладе:

Чистеньких, грамотных
Дикарей
Встретил памятник
Грудью своей!

Образ молодого политрука-коммуниста, которого немцы вешают на месте свергнутой ими с пьедестала статуи Ленина, политрука, смело смотрящего в лицо смерти и в последнее мгновение выбрасывающего вперед руку, так же, как и бронзовый Ленин,— этот образ казался мне тогда, на

фронте, да и сейчас, одной из самых ярких удач поэта.

Я читал в те годы и другие фронтовые стихи поэта. И мне казалось, что во многих из них я нахожу отзвуки этой замечательной «Баллады о ленинизме», своеобразное развитие ленинской темы во фронтовой лирике Сельвинского, которая вошла, несомненно, в золотой фонд нашей поэзии.

Разве ленинское начало не лежало в истоках массового героизма народа, разве ленинская баллада Сельвинского не близка кровно таким его стихам, как «Аджи-Мушкой», рассказывающим о героях подземной цитадели в Крыму, или яркой зарисовке воздушного боя в стихотворении «Бой в тридцать секунд».

Только тридцать секунд всего,
Но в эти мгновенья, бурей гремя,
Улетучилась юность моя:
Мальчиком я подымался ввысь —
Мужем зрелым вернулся вниз.
.....
Минутой одной
..... в голубом
..... бою
Выразив сразу жизнь свою.

Вскоре Сельвинский уехал на фронт, сначала на Южный, к дорогому его сердцу Севастополю, а затем, как видно по его стихам, с войсками 3-го Белорусского фронта вошел в столицу Восточной Пруссии — Кенигсберг.

С тех пор как я еще юношей познакомился с поэзией Сельвинского, я стал постоянным и постоянным его читателем. Никогда не прерывалось мое заинтересованное читательское общение с лирикой и эпическими произведениями поэта, его трагедиями, публицистикой, статьями, всегда насыщенными и мыслями и темпераментом.

В последнее десятилетие работы поэта, как мне представляется, две коренные темы — Революция и Россия — обрели благотворный для Сельвинского и глубоко органический синтез. И в гражданских стихах, в лирике, в стихотворных трагедиях Сельвинского историческая тема достигла больших высот реалистического искусства. Здесь образ народа-творца как основной силы прогресса пронизывает эти мощные по внутренней энергии, динамизму и пластической выразительности трагедии, — как мне кажется, до сих пор не в полной мере оцененные.

Сельвинский пронес через всю жизнь любовь к Революции, России и Ленину, всег-

да, до последнего часа, он оставался верным идеалам своей юности.

К тому же мне всегда казалось, что он принадлежит к числу тех людей, кто не меняет своей убежденности и своих творческих позиций в зависимости от тех или иных уколов критики, удач или неудач, кто не рассматривает свою жизнь под углом личной судьбы, а умеет подняться над нею в своем историческом, революционном прозрении. В этом, мне думается, он черпал силы для творчества, жизни.

Труд ведет историю по векам
Поступью железной в коммунизм,—

писал он. Его замечательный «Сонет» с рассуждениями о судьбе поэта заканчивается строчками:

Бессмертья нет. Но жизнь полным-полна,
Когда бессмертью отдана она.

...Илья Львович умер внезапно, хотя и давно болел. Умер, как и хотел, «с пером в руках», не прерывая «вечного клокотания, бурления, своего пожизненного пребывания на переднем крае Революции, гражданской войны, строительства индустрии, пятилеток, покорения Арктики, на фронтах Отечественной войны, освоения целины и всего того, чем жил народ и чем жил поэт, не отделявший себя от судьбы народа, страны».

Так говорили на траурной панихиде в писательском клубе его друзья, ученики, боевые товарищи: Наровчатов, Симонов, Резник, адмирал Холостяков...

Над Новодевичьим кладбищем стоял 26 марта 1968 года ясный день. Еще всюду лежал снег, перемешанный с черными пятнами обнажившейся кое-где земли. Было по-весеннему ветрено, свежо. От трибунки, стоявшей на асфальтовом пятачке кладбища, на истоптанный снег ложились зыбкие тени. Сменялись ораторы в последнем слове прощания.

И пока голоса их звучали с траурной трибуны над обнаженными головами пришедших отдать последнее «прости» поэту, где-то совсем рядом, за стеною кладбища, на широкой улице, видно, шла подготовка к спортивному параду. И властный с хрипотцою голос, резко усиленный мегафоном, выкрикивал команды, выстраивал шеренги и делал замечания юным спортсменам:

«Поправьте костюм!», «Уберите живот!»
«Ровнее, внимательнее!»

А затем повелительное: «Шагом марш!»

И гремел торжественный марш, мешая говорившим, доносился четкий и громкий шаг молодежных колонн.

И я подумал тогда: «Быть может, так и надо хоронить настоящих поэтов — под звуки походного марша юности, в такие ясные, солнечные, весенние дни».

РАЗДУМЬЯ О ЧИТАТЕЛЕ СТИХА

Окончен рабочий день, уходят последние читатели. Мое внимание привлекают сданные ими книги. Здесь почти сплошь поэтические сборники. Вадим Шефнер и Евгений Винокуров, Михаил Светлов и Леонид Мартынов, Эдуардас Межелайтис и Степан Щипачев. И так — ежедневно. Чем это объяснить?

Эффект поэтической книги определяется пересечением творческих лучей писателя и читателя. И я прошу не считать обмолвкой то, что я говорю о творчестве читателя, ибо еще мало изучаемая нами психология восприятия поэтической книги говорит о художественных началах, дремлющих в кладовых душ наших читателей.

Сегодняшний читатель... Нину Новикову я знаю уже около восьми лет. Она пришла в библиотеку, будучи школьницей-лаборанткой. Сейчас она ведущий инженер. Ее знания поэзии ограничивались узкой школьной программой. Но эта девушка была озарена чудесным талантом восприятия.

Прежде чем Нина избрала себе любимцев нынешнего дня, она перечитывала Жуковского, Пушкина, Батюшкова, Дельвига, Рылеева, Тютчева, Некрасова, Баратынского, Кольцова, Фета, Блока, Бунина. Здесь поэтический фундамент просто необходим. Если не было в библиотеке намеченного мною для нее сборника того или иного поэта, Нина уносила обратно тот, который хотела сдать; и я радовалась — она не просто читала, но чувствовала, глубоко вглядывалась в поэта.

Нина писала в анкете: «Некрасов, например, научил меня тому, что его поэзия требует внимания мысли. Фет — настроения. Блок — слуха. Это означает для меня, что стихи нельзя читать только глазами. Я принимаю участие в работе поэта: стремлюсь думать вместе с ним, вместе с ним ищу образы, делю вместе с ним его тревогу и боль. Тогда вдруг я начинаю ощущать, что поэт — мой товарищ. Что он для меня — сама жизнь, со всеми ее радостями и печалью. Какое это счастье!»

Как здесь не вспомнить Светлова, который говорил: «У поэзии своя синхрон-

ность — когда поэт совпадает со своим читателем».

Наблюдая за читателем, я вижу, как поэзия делает его другим и — не побоюсь сказать — талантливым. Да, хорошая поэзия делает читателя человеком творческим. С него сползает все наносное, бытовая шелуха, он становится чутким, открытым, добрым. Да, добрым!

Вы думаете, я преувеличиваю? Нисколько. Чудо перемены делает настоящая поэзия.

Присмотримся к сегодняшнему читателю стиха, который ищет в поэзии ответа на сложные вопросы бытия.

Почему зачитаны до дыр сборники Леонида Мартынова? Ведь стихи его очень сложны. Так в чем же дело? А в том, что Мартынов вступает в поединок со старыми представлениями читателя о поэзии. Он умеет уловить в настоящем признаки будущего, предсказать его. И эта устремленность в будущее нужна сегодняшнему читателю. Мне не раз говорили почитатели Мартынова, что они чувствуют у поэта уважение к себе. Вот в чем разгадка успеха лирики Мартынова. Ведь у него особое отношение не только к материалу стиха, теме, идее, но прежде всего — к самому читателю. Частые обращения к воображаемому собеседнику, подчеркнуто разговорная интонация многих стихотворений, множество житейских, близких каждому подробностей, простые синтаксические конструкции при самых абстрактных темах. Благодаря этому у читателя создается впечатление, что раздумья поэта о времени, о человеке, долге, искусстве, доброте, новой морали — это для него, это беседа с ним. Поэт делает читателя участником своих переживаний и своих размышлений. Он вводит читателя в круг своих разносторонних интересов. Поэт, обращаясь к читателю, заставляет «работать» его мысль. Читатель чувствует ответственность поэта перед ним, это не может не волновать его и не рождать у него такого же ответного чувства.

Постоянно беседуя с читателями, вдумываясь в характер их спроса, изучая их вкус, я вижу, что сегодня многие из них разыскивают и различают в потоке того, что име-

нуется стихами,— ПОЭЗИЮ. А ведь двенадцать лет назад, когда я начала библиотечную работу, об этом не могло быть и речи. Сейчас, заглядывая в свой старый дневник, просматривая записи о читателе стиха, я удивляюсь: как он вырос! Сегодня уже **значительно** меньше читателей принимают в поэзии сентиментальность за любовь, а демагогию — за искусство.

Почему сегодня читатель становится в библиотечную очередь за томиком Есенина, Мартынова, Светлова, Уткина, Кедрина, Заболоцкого?

Сердечность поэта, близость его к читателю, непосредственный контакт с ним — вот что нужно сегодняшнему читателю стиха. Мои читатели сегодня уже могут говорить о технике версификации, системах стихосложения, их не устраивает только форма стиха, пусть даже филигранная, они хотят, чтобы поэт доверял им свой стих, как ребенка. Меня несказанно радует, что один мой читатель, выражая мнение многих своих товарищей, сказал: «Граница поэзии проходит там, где сказано всегда **больше**, чем написано. По Маршаку:

— О чем твои стихи? — Не знаю, брат.
Ты их прочти, коли придет охота,
Стихи живые сами говорят,
И не о чем-то говорят, а что-то».

Сегодня много спорят об интеллектуальной поэзии, а мои читатели, мои **лучшие** читатели, которые могут воздействовать и на вкусы других, считают, что «поэзия невозможна без острой, своеобразной, необходимой мысли, без этого она просто рассыпается».

Сегодня — время умной, размышляющей поэзии. Постичь мысль в поэзии можно только через чувство. «Однако — поэзия не философия, она не участвует в диспуте о мировоззрении. Она — дело жизни, проще и сложнее в одно и то же время», — говорит Павел Антокольский во вступлении к книге «Четвертое измерение».

Напрасно полагают, что читатель философской лирики ищет только словесные формулы и замысловатые периоды с придаточными предложениями. Чтение поэзии никак нельзя уподобить решению шахматной задачи. Читатель или слушатель поэзии любит не просто мысль, изложенную стихами, а чувствующую мысль, художественный образ, создание **искусства**, то есть гармоничное сочетание многих качеств.

Я наблюдаю, работая с технической интеллигенцией, что именно люди науки сейчас высоко ценят и понимают поэзию. Так называемая «философская» лирика особенно увлекает эту часть нашей интеллигенции, и здесь надо видеть прямую, более прямую, чем ранее (а эту мысль высказал еще в XIX веке Баратынский), зависимость поэзии, еще шире — искусства от научных представлений и философских воззрений современности. Сегодня ни один представитель технической интеллигенции не может работать творчески, каждодневно не нащупывая главный поэтический нерв эпохи, не чувствуя движения художественной мысли. Поэзия, современная поэзия, помогает понять человеку, в чем же смысл его жизни на земле, она раскрывает ему характер и цель его деяния, она как бы через гигантское увеличительное стекло показывает неисчерпаемые его духовные возможности.

Человек, увлекшийся поэзией, и сам в известной мере поэт; увлекшийся поэзией обуреваем образами, он носит в себе целые миры, он вдруг чувствует способность преобразовывать мир, делать невиданные открытия, совершать подвиги...

Для воспитания читателя многое может сделать искусство художественного слова. Мне хочется, анализируя свои наблюдения, сказать, что будущее за «звучащей литературой», особенно за «звучащей поэзией».

Перевоплощение поэта в чтеца — это самый сложный процесс, гораздо более трудный, чем актерское перевоплощение. Но хороший чтец не просто учит понимать поэта, он учит дару поэтического восприятия вообще.

В старой японской поэзии существовало разделение стихов на те, что предназначены для чтения (емубито), и те, что предназначены для пения (утабито). Подобное деление, хотя и не в столь категорической форме, по-моему, может быть принято и по отношению к поэзии вообще. Есть вещи, которым как бы противопоказано чтение вслух, вынесение их «на люди». И есть стихи, которые настоятельно требуют своего озвучивания. Это не обязательно относится только к публицистической, трибунной поэзии. Богатая звукопись стиха, чисто физическое удовольствие, которое испытываешь при чтении или при восприятии, — первый фактор. Другой — это внутренняя связь образов, ассо-

циации; они всегда есть в поэзии. В книге стихи отделены друг от друга. Звучащая поэзия позволяет перекинуть мосты между несвязанными вещами, заново сформулировать те связи, которые обусловлены индивидуальностью поэта или общностью поэтов. Великолепным примером такого рода не формальных, а содержательных, раскрывающих суть монтажей могут служить композиции Яхонтова, в которых поэтическое прочтение произведения делало его невольным соавтором и Пушкина, и Маяковского, и Достоевского. В самом монтаже содержится элемент характеристики, более того — идеи.

Мне кажется, что **озвучивания** настоятельно требует именно современная поэзия. Ее формы подчас бывают сложны, непривычны, она труднее воспринимается «с листа». Многие читатели еще не умеют воспринимать новую, нередко сложную форму. И здесь

необходим умный, любящий и понимающий поэзию, современную поэзию в особенности, чтец.

Вспомним, что Маяковский ко многим читателям пришел с эстрады. Его **звучащий стих** опередил читательское восприятие глазами. Это было выражением **нового** в читательско-слушательском восприятии.

И еще — об авторском исполнении стихов. Как бы скверно и непрофессионально ни читал поэт свои стихи — его не заменят самые лучшие чтецы. Поэт должен читать свои стихи тем, кому он их внутренне адресует. Пока написанное дойдет до читателя в печатном виде — сколько пройдет времени?.. Поэт, не общающийся со своим читателем, — система без обратной связи, она неустойчива. И читателю обязательно нужно общение с теми, кто пишет для них. Это подтверждает жизнь.

Содержание

В. Перцов

Недорисованный портрет (7).

Н. Тихонов

«Июль девятнадцатый, год двадцатый...» (15).

Я. Смеляков

Размышления возле новогодней елки (16).

Л. Татьяничева

Солдатский подарок (17).

В кабине космонавта (17).

В. Гордиенко

«Не стареют солдаты у входа...» (18).

Л. Озеров

«Как мало жил он!...» (18).

«Он предсказанье обратил в науку...» (18).

Д. Ковалев

«Как он умел душою оставаться...» (19).

И. Ринк

«Площадь у Финляндского вокзала...» (19).

П. Железнов

Дети Ленина (20).

Е. Долматовский

Баллада о памятнике (21).

А. Алдан-Семенов

В лесах Востока не был Ленин... (22).

А. Адалис

«Нет, мы не рождаемся с душой...» (23).

А. Агабаев

Хивинский этюд (23).

М. Алигер

Баллада о французском студенте (25).

В. Антонов

Тракт (27).

Е. Антошкин

«А бабушка меня любила...» (27).

Б. Ахмадулина

«Последний день живу я в странном доме...» (28).

«Однажды, покачнувшись на краю...» (28).

Я. Аким

Граница (29).

«Моя икона—женское лицо...» (29).

А. Балин

Моей армии (29).

А. Безыменский

Сухаревка 1919 года (31).

С. Баренц

Вновь я письмо читаю (32).

Я. Белинский

Горит собор (33).

М. Беляев

На высотном рубеже (34).

Н. Берендгоф

На Мамаевом кургане (34).

В. Берестов

Стихи о моем детстве

Городок (35).

Братья (35).

Тюря (35).

Собор (36).

Семейная фотография (36).

На чужой стороне (36).

Урок рисования (36).

Человечек (37).

«Полна, как в детстве, каждая минута...» (37).

«Когда душа обиды не смолчала...» (37).

П. Богданов

Инвалиды войны (37).

В. Бершадский

«Под санями дорога хрустящая...» (38).

А. Богучаров

Наводнение в Абакане (38).

Олонхо в самолете (39).

В. Боков

Костромская сторонushка (40).

Слова (40).

«Меня просило сегодня море...» (41).

И. Борисов

«С восхода и до ночи поздней...» (41).

«Нет на маститость и намека...» (41).

А. Брагин

Яблоко (42).

В. Бурич

Ода библиографам (42).

Д. Бромберг

«У Ильича для всех бедняцких бед...» (43).

«Яркая звезда во тьме густой...» (43).

Минута молчания (43).

Н. Бялосинская

«И была мне при жизни земля пухом...» (44).

Над Байкалом (44).

«Домодедово...» (45).

К. Ваншенкин

Весенний лед (45).

«В заботах нового труда...» (46).

«Я очнулся рано поутру...» (46).

«Прошел по старым книжкам записным...» (46).

Приметы (46).

«Уже знакомы с Гегелем и Кантом...» (46).

Л. Васильева

«Пытаясь суть размолвки оправдать...» (47).

«Была четвертая разлука...» (47).

П. Вегин

Рисунок Ленина (48).

Переплыви Волгу (49).

Лорелея (49).

А. Величанский

«Август — вереск-невидимка...» (50).

«Есть тишь царскосельского чуда...» (50).

«И вдруг она покинула меня...» (50).

Е. Винокуров

Светило (51).

«Что молодость — экое дело?...» (51).

После театра (51).

А. Вознесенский

Молитва (52).

Легенда ироническая (52).

Пузыри земли (53).

Осень (53).

И. Волгин

Софья Перовская (53).

И. Волобуева

Отель «Клара Ларсон» (54).

В Смольном (54).

А. Гатов

Из искры (56).

Н. Глазков

Шушь (57).

Знал Ильич (57).

Т. Глушкова

«А я пройду теперь совсем спокойной...» (58).

«...Но ту босую, бедную тетрадь...» (58).

«...А время, дрогнув, покатилося вспять...» (59).

«Не трону — ни веткой, ни вечным...» (59).

Д. Голубков

Утро в Махинджаури (60).

Тропинка во ржи (60).

А. Говоров

Сеятель (61).

«Над зарей поднялся аист...» (61).

- М. Годенко**
Молдавская легенда (62).
- М. Горбунов**
Устремленность (63).
Перед рассветом (64).
- Н. Горохов**
Комиссары (64).
- И. Грудев**
Прощальное (65).
Поиски (65).
- Н. Груздева**
«Все кончено. Ни звука, ни строки...» (65).
- П. Грушко**
29-й километр (66).
Пауза (66).
- Е. Гулыга**
Очаково (67).
«За рекою, под горою...» (67).
- А. Дементьев**
Баллада о верности (68).
«О, юность наша!» (68).
Благодарность (69).
- А. Дидуров**
Поезд (69).
Первая зимняя ночь (70).
- О. Дмитриев**
Муза истории (71).
«Над речкой мосток деревянный...» (71).
- А. Досталь**
Крылья (72).
- Ю. Друнина**
Я родом не из детства (73).
«Нет, это не заслуга...» (73).
«В День Победы поднимаем чарки...» (74).
«Колесам сердца лихорадочно вторят...» (74).
- Б. Дубровин**
Девятое мая (74).
- Е. Евтушенко**
Фатима (75).
Осбенная точка (76).
- Г. Еремеев**
Из словаря моего детства (77).
Следы на снегу (77).
«Мальчишки, мы себя грубей...» (77).
- В. Ермаков**
На улице Совхозной (78).
- А. Жаров**
Стихи к политическим плакатам
Свобода (79).
Наказ вождя (79).
К проекту «наведения мостов» (79).
Путь в космос (79).
- П. Железнов**
Начало звездных маршрутов (80).
- А. Жигулин**
«Здесь, на окраине, над лугом...» (81).
«Сухая внуковская осень...» (81).
- Т. Жирмунская**
«Как мала моя дочь!» (82).
- В. Жуков**
Ткачихи (82).
«Какая уж выпадет карта...» (83).
- А. Заяц**
«Чем мгlistей те лета...» (83).
- А. Землянский**
На учениях (84).
«Помню день...» (84).
- Н. Зиновьев**
Паромщик (85).
«Волнуясь клятвою пред чудом...» (85).
Последний телефон (85).
- Н. Злотников**
Лермонтовские места (86).
«Ты помнишь, в Кореизе море...» (87).
- И. Иванов**
Над Волгой (87).
- Ю. Каменецкий**
Память на поверке (88).
Развеселая у нас хозяйка (88).
После маневров (89).
- В. Карпеко**
На тактике (89).
- А. Кафанов**
Из цикла «Память» (90).
- И. Кашежева**
«Здравствуй, город моих шестнадцати...» (91).
«В сотый раз к Эльбрусу припадаю...» (91).
- М. Квливидзе**
Баллада о грузинском слове (92).
- А. Кленов**
Фотография (93).
Граница (93).
Цветет форзиция (93).
- Д. Ковалев**
«Бывает в жизни день, жестокий, судный...» (94).
- А. Коваль-Волков**
«А здесь — все так и не иначе...» (95).
«Летит дорога серпантинном...» (95).
- К. Ковальджи**
Городок (из поэмы) (96).
- Я. Козловский**
Кайсыну Кулиеву (97).
Поздняя осень (97).
- О. Колычев**
Живой Ильич (98).
- П. Кудрявцев**
Ленинский шалаш (98).
- А. Коренев**
Это было (99).
Феликс Эдмундович (99).
Здравствуй, мама (100).
- Н. Коржавин**
Тем, кого я любил в юности (101).
Влажный снег (102).
- Г. Корин**
Новороссийск, 1943 (103).
Несостоявшееся свидание (103).
- В. Корнилов**
Утро (104).
- Н. Котенко**
Диалог оптимиста и пессимиста (105).
- В. Краснобаева**
Рождение века (105).
- Э. Котляр**
Канонада (106).
Новый дом (106).
- Ю. Кублановский**
«О, только бы не умереть...» (107).
Апрель (107).
Садовый (107).
- В. Кузнецов**
Старый прииск (108).
Декабрь (108).
- В. Кузнецов**
«Этот звон. Этот лес не по мне...» (109).
- Ю. Кузнецов**
«Эту сказку счастливую слышал...» (110).
Грибы (110).
«Ни тонким платком, ни лицом не заметна...» (110).
- Т. Кузовлева**
«Жара подступала под своды...» (111).
«Внутри двора, где запад и восток...» (111).
«Под синим небом белый снег...» (112).
«Безбожница, заброшу все дела...» (112).
- С. Куняев**
«Все не высказать, всех не обнять...» (113).
«Я рад, что тело на краю земли...» (113).
«Я, как в юности, снова приду...» (113).
- И. Лашков**
Начальник заставы (114).
- Г. Левин**
О Ленине (114).
Взгляд вождя (114).

Н. Леонтьев

«В мире — вёсны, горы, пади...» (115).

Ю. Левитанский

Из книги «Кинематограф»
Воспоминанье о дороге (116).
«Музыка, свет не ближний...» (117).
Воспоминанье о Марусе (117).

М. Лисянский

Семья (118).
Я приезжаю в город Николаев (118).
Акация (119).

С. Липкин

Птицы поют (120).
Размышления в Сплите (120).

М. Луговская

Комсомольца двадцатых годов (121).
В городе Липецке (121).
Саяны (122).
«Разотри багульник на ладони — подыши...» (122).

М. Луконин

Слово другу (123).

М. Львов

Ветераны (124).
«Караурман» (125).

С. Марков

Девичья грудь (126).
Баллада о гостинице «Селект» (127).
Богородица снайперов (128).

А. Марков

«Все цветы — мои, мои!» (129).

Л. Мартынов

Дом Вальса (130).

А. Мелеткина

«Мороз упал, снега поблекли...» (131).

Н. Матвеева

Поэт (132).
Начало ночи (132).

А. Межиров

«Не предначертано заранее...» (133).
Послесловье (133).

Г. Миловидова

Владимир Ильич и Клара Цеткин (134).
«Нет, я не знала чувства зависти...» (136).

С. Мнацаканян

«На фотоснимке — третий справа...» (136).

Ю. Мороз

Бетани (137).
«Капли падают светло...» (137).
Побег (138).

Ю. Мельников

«Минуя леса и перроны...» (139).

А. Метс

«Люблю прижаться...» (139).
«На тебе играет листва...» (139).
«Тихо уснули сопки...» (139).

Л. Напельбаум

Лицо (140).
Поэма (140).
В лесу (140).

П. Нефедов

По дороге в Шушенское (141).
На Красной площади (141).

А. Никифоров

Россия (142).
Во весь опор (142).

А. Николаев

Последний, решительный... (143).
«Дорога идет за ворота...» (143).

Н. Новоселов

У Кремлевской стены (144).
Рождение города (144).

Н. Новосельнова

Зима (146).
Майка (146).

Л. Озеров

«Слушаю ваше молчание...» (147).
«Из полусумрака листвы...» (147).
«Россия. Руки бурлаков...» (147).
«Сердце над бездной висит коршуном...» (147).
«Меня тревожит жажда совершенства...» (148).

И. Озерова

«Встает заря. Мы открываем двери...» (148).
Воронеж (148).

А. Ойслендер

Девятнадцатый год (149).
«Не вырывай седых волос...» (150).

Ю. Орлов

Снова (150).

В. Осинин

Тревоги (151).
Ровесники (151).

Г. Остёр

Товарищи Ленина (152).

Л. Ошанин

Баллада о земле и небе (155).

С. Пайна

Дорога (157).
Деревня Усть-Дема (157).
Уменье (157).

Н. Панченко

«Не волнуйся, маленький...» (158).
«Ты — за окнами...» (158).
«Вдоль пазов клубится дымок...» (158).
Знаток охотничьих маршрутов... (159).

А. Преловский

Звук (159).

Д. Паттерсон

Бунтарская баллада (160).

Д. Петров

Дозвонись в мои леса! (161).
Танец стройбатовцев (161).

С. Поделков

Телефонный разговор (162).
Искусство (163).

С. Поликарпов

Живи, моя Россия! (163).

А. Прокудин

После арналета (164).
В деревне перед грозой (164).

В. Проталин

«Как встарь, и ныне...» (165).
«Осенние лучи пугливы...» (165).

Э. Пузырев

Начало (166).

В. Рабинович

Тридцатое ноября (166).

П. Радимов

Строки о Родине (167).
Зима (167).

Г. Рудяков

«Оставшимся в живых — давно за сорок...» (167).

Ю. Разумовский

Взятие Будапешта (168).
На границе (168).

А. Ревич

Поезд (169).
Ростов Великий (169).

И. Ринк

Баллада о четвертой роте (170).

И. Рыжиков

«Когда бы, круто брови поднимая...» (171).
«Сад предосенний на сносях...» (172).
«После прошлой войны» (172).

Ю. Ряшенцев

Вечер 23 декабря (173).

В. Савельев

«За друзей вступающийся пылко...» (174).
«Не веря ни в божью...» (174).
Сходка (175).

Д. Самойлов

Старый сад (176).
«Неужели всю жизнь надо маяться!» (176).

В. Семакин

«Все чаще снится и мерещится...» (177).
«Не то цветков, не то снежинка...» (177).

В. Семенов

Время (178).

Г. Серебряков

«Как сердцу больно!...» (178).

Р. Сеф

Жест (179).

Спасский монастырь (179).

Н. Сидоренко

Предзимнее (180).

В. Симоненко

Песнь о лопате (181).

«Сошла зимняя матовость...» (181).

Б. Слуцкий

«Мой батальон — четыреста парней...» (182).

Налет (182).

Старший лейтенант (183).

Колокола (183).

Старый спутник (183).

Чужой дом (184).

Линии железных дорог (184).

Л. Смирнов

Монолог космонавта (185).

А. Смольников

«— Дышите глубже. Так. Еще...» (186).

А. Соболев

Творчество (187).

«Мне от Москвы до той речушки Стикса...» (187).

Т. Сырыщева

«Кто-то голосом, полным тревоги...» (188).

В. Соколов

Хлеб (189).

«Черные ветки России...» (189).

Болезнь (190).

«Дышала беглым холодом вода...» (190).

«Я не хочу бросать пустую тень...» (190).

Н. Стефанович

«Горит закат, и вечер бледно-розов...» (191).

«Я невозможной встречи жаждал...» (191).

«Мы прятались в саду, желтела осень...» (191).

Л. Татьяничева

Баррикады (192).

Л. Темин

«Так поверила в меня!...» (192).

М. Терентьева

Зимний лес (193).

Д. Терещенко

Русская мама (193).

Дерево (194).

Н. Тихонов

У костра (194).

И. Тобольский

Письмо (195).

Л. Тоом

Новый дом (195).

1941 (196).

Тарту (196).

В четыре часа утра (197).

Водопад Кейла-Йоа (197).

Н. Тряпкин

«Не хватает грома для раската...» (198).

Ай лю... (198).

«Так неслышно, незаметно...» (199).

В. Урин

Венок сонетов (199).

В. Файнберг

Товарищу Рамону Л. (202).

Летняя ночь (202).

И. Фаликов

Утро (203).

Осиновка (203).

Свинец (204).

В. Федотов

«Вспоминаем до сих пор...» (204).

К биографии моего поколения (205).

Н. Флеров

Дума о Севастополе (205).

И. Френкель

Партийная неделя (206).

По Енисею (206).

Музыка (206).

Е. Храмов

Четырнадцатое декабря (207).

Могила в Донском монастыре (207).

Г. Хомутов

Тетради (208).

Первый этаж неба (208).

Будильник (209).

А. Хмелев

В лесу (209).

В. Черняк

Баллада о 10-м «А» (210).

Память (211).

«В распоряжение твое...» (211).

Ф. Чуев

«В субботу умер маршал Рокоссовский...» (212).

В. Шаламов

«Наступающим маем...» (213).

Лодка (213).

Пегас (214).

«Вечерний холодок...» (214).

«Ты—учитель красноречья...» (214).

Е. Шевелева

Монограмма века (215).

Возраст (215).

Л. Шейнкман

Товарищ Ньюша (216).

В. Шефнер

На палубе (218).

Игры (218).

«Вспомни эту вечеринку...» (218).

И. Шкляревский

«Пурга за окнами мела...» (219).

«Не журавля прощальный крик...» (219).

Летят во Францию вороны (219).

Весенняя ночь в Могилеве (220).

«Ночное небо над стоянкой...» (220).

В. Шлёнский

Мой лес (220).

С. Щипачев

Неужто за то... (221).

Эпитафия (221).

На даче ученого (221).

...И вел их Ленин (222).

Н. Эскович

Слово о красном флаге (223).

Апрельская колыбельная (223).

Снежные стихи (223).

Сиреневый переулочек (224).

Поздний апрель (224).

З. Яхнин

Из «Шушенского дневника» (225).

М. Скуратов

Ильичу (227).

А. Макаров

Боевое утро поэзии (229).

А. Февральский

Маяковский читает свои стихи (232).

А. Медников

Строчки на память (237).

С. Магидсон

Раздумья о читателе стиха (241).

ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1970

М.. «Советский писатель», 1970. 248 стр. План выпуска 1970 г № 131. Художник *И. А. Гусева*. Редактор *В. С. Фогельсон*. Худож. редактор *В. В. Медведев*. Техн. редакторы *Р. Я. Соколова*, *Т. С. Ступникова*. Корректоры *Ф. А. Рыскина*, *Л. К. Фарисеева*. Сдано в набор 5/VI 1970 г. Подписано к печати 21/VIII 1970 г. А 10021. Бумага 84 × 108^{1/16} № 2. Печ. л. 15,5 (26,04). Уч.-изд. л. 19,08. Тираж 75 000 экз. Заказ 1137. Цена 1 р. 68 к. Издательство «Советский писатель». Москва К-9, Б. Гнездиновский пер., 10. Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР. Москва, М-54, Валуевая, 28.

Гр. 68 к.

